

Розка (сборник)

Автор:

Олена Стяжкіна

Розка (сборник)

Елена Викторовна Стяжкина

Книга «Розка» – это четыре повести о том, какой была жизнь до войны, и о том, как война не заканчивается возвращением с фронта.

Герои этой книги – разные люди, в чем-то хорошие, в чем-то – не очень. В повести «Розка» рассказывается о двух девочках, разделенных лестничной площадкой, об их странной, ни на что не похожей дружбе, в которой даже смерть не может поставить точку. «Ключи» – история о человеке с немодной ныне профессией философ и его почти удачных поисках Европы. «Набросок и “Сан Габриэль”» – о месте, где как будто нет войны, о людях, которые не знают и не хотят знать об окопах, обстрелах, смертях и подвигах, которые по привычке воруют и интригуют, имитируют патриотизм и предают сами себя. А повесть «Фуга» – история военной болезни многоголосья, утверждающая, что множественные личности – это не страшно, и то, что худшую из придуманных личностей всегда можно выгнать и тем победить, а лучшую – не бояться и признать своим другом...

Все эти повести – немного «одиссея», все они – маленькие саги о долгом и трудном пути домой.

Елена Стяжкина

Розка

© Е. В. Стяжкина, 2018

© В. Н. Карасик, художественное оформление, 2018

Розка

Полюбить этот дом и это место никогда так и не получилось. Не вышло у меня с квартирой, снятой у соседей. С квартирой, хранимой для Розки.

Сами они жили в однокомнатной, которая считалась дворнической. В кухне стояла панцирная кровать. На ней спали многочисленные родственники из Новотроицкого. Наташа, Розкина кузина, а потом и ее дети. Дети у Наташки рождались каждый год. К нашим всеобщим восемнадцати у нее уже было трое. К двадцати двум – еще трое. Второй ребенок – Саша – не умел или не хотел разговаривать. И Розка, которая почему-то знала о своей безнадежной бездетности, намеревалась его усыновить. Наташа не давала согласия. И, выпив, кричала: «Мое, хоть глухое, а мое».

Та квартира, которую нам сняли, была двухкомнатной хрущевкой. Пятый этаж. Крыша. Угол. Южная и западная сторона.

Солнце. Перекосившиеся и намертво заколоченные рамы (если мыть, то выдергивать гвозди, раскручивать шурупы, потом звать столяра, чтобы все – назад). Трамвайчик. Вагончики. Без всякой надежды на сквозняк. Когда солнце садилось, в квартире можно было жить.

И тараканы тоже так считали.

Мне было восемнадцать лет. Я ничего не умела. Моя первая уха была такой водянистой, что я купила для нее консервы. Но все равно – это невозможно было есть.

Колонка, которая зажигалась только со звуком притаившегося взрыва, висела в ванной. У родителей тоже в ванной. Но у них я мыла посуду, а здесь собирала в раковине – до полного ее окончания. Белье тоже – до полного. Я была королевой

тараканов. Их надеждой и опорой. И они не подводили меня, расселяясь в люстрах, над дверями, пробираясь в холодильник, зимние ботинки, но не трогая книги.

Я писала курсовую про Римскую империю и читала Светония Транквилла. Солнце против него было бессильно. С ним еще неплохо справлялся Тарле и Гильгамеш...

И больше всего я боялась возвращаться в эту квартиру. Еще просыпаться в ней. Умываться, чистить картошку.

Я не могла в ней жить совсем. Но об этом нельзя было говорить, потому что других квартирных вариантов не было. И страх возвращения считался бы взрослыми как каприз. Как такой же каприз, как наш брак, в котором мы оба бежали от родителей, думая, что так обретем свободу.

Вместо свободы получилась тоска и зависимость двух балованных, ни к чему не приспособленных людей, которые вряд ли даже любили друг друга. Просто признаться в том, что это была не семья, а побег, – не хватало мужества. Или осознанности.

Эта квартира... В перпендикулярном моему миру районе. Там, за рекой Кальмиусом, где мы жили раньше, были параллельные улицы. Длинные, через весь город... Можно было долго гулять. Дойти до аэропорта, посмотреть на самолеты и вернуться обратно.

С той стороны моста, где жила снятая квартира, были бульвары и проспекты. И не было улиц. Гулять тоже было нельзя, потому что пунктом назначения оказывался то завод «Стройдеталь», то цыганский поселок, где варили ширку.

Бульвары были абсолютным асфальтом. Я не знаю, как это описать. Жирный, серый, метровый, без всякой надежды для травы. Его нельзя было пробить ничем, кроме отбойного молотка.

С другой стороны, асфальт был ни при чем.

Я иногда думаю: а если бы квартира из перпендикулярного мира была хорошей? Любимой? Смогли бы мы, вырвавшись даже не для постели, а просто – чтобы быть не в клетке, люди, стать, например, семьей?

Я не могу жить в Киеве. Здесь в квартире солнце.

Теперь, в этом новом мире, уже сказано кем-то, что мучиться не надо. А надо – жалюзи, кондиционер и темные шторы. Если солнце так невыносимо. Если так невыносима жара, ее можно не терпеть.

Но вот снова – то же самое снова. Гай Светоний Транквилл прочитан. А я и теперь не знаю, что и зачем, кто я и куда иду.

Бездомность – метафора модерна. А стихия, в которой выбираешь не ты, архаика, провал в которую у меня не выходит органично. Вообще никак не выходит.

Профессия, в которой ты ничего не делаешь руками, не годится для войны и послеядерной катастрофы.

Рассказывать сказки... Я буду рассказывать сказки, цена которым – восторг узнавания затонувшей Атлантиды. За сказки мне будут давать картофелину или две.

Я буду относить их родителям и детям. Одну – родителям и одну детям. До тех пор, пока будет урожай и будет время между его сборами. В засуху или ливни, когда голода окажется больше, чем людей, мои сказки перестанут быть интересными.

* * *

Розка переехала в наш подъезд, когда мы учились в третьем классе. До нее в квартире напротив жили глухие. Наташин сын как-то перекликнулся с ними, с теми прекрасными глухими, у которых родилась маленькая говорящая и слышащая девочка. Девочку вывозили в коляске и оставляли у скамейки перед подъездом.

Теперь, после российской оккупации, это место будут называть парадным, да? Парадное и клумбы, отграниченные поребриком.

Я разговаривала с девочкой, она агукала в ответ, а ее родители улыбались и светились от счастья: у глухих – слышащая. Тогда, в детстве, счастье представлялось мне справедливостью. Теперь я знаю, что счастье и справедливость – вообще по разным ведомствам.

Глухие уехали в новую квартиру на Северном. Они подарили мне резиновую игрушку. Обезьяну – зеленую с желтым. Но я уже выросла из таких игрушек. А потому сразу ее потеряла.

Квартира напротив родительской стояла пустая. Год, может быть, больше. А потом приехала Розка. Розка и ее мама. Мама была дворником. А Розка – красавицей. С головы до ног. А ноги уже нет. Не были красивыми. Кривые, почти колесо.

Папа сказал, что это рахит. А мама – что наследственное. У Розкиной мамы тоже были ноги колесом.

Но это ничего не меняло в Розкиной красоте. Тонкий, малюсенький носик, ровный, уютный и трогательный. Белая кожа, плотная, сильная, как будто подсвеченная изнутри и снаружи. Глаза у нее были зеленые, чуть раскосые, с каплей египетского и тремя – монгольского, к ним – длинные темные ресницы. Мы думали, что она красится урзолом. Такой специальной краской для меха. Втайне от родителей многие старшие девочки пробовали этот метод.

Для урзола Розка была еще маленькой, но характера, это сразу было видно, могло хватить. А брови и волосы были белыми. Блондинка. Такая блондинка, что хотелось зажмуриться и не поверить.

Она спросила, могу ли я на турнике. Я не могла. Я не знала, что надо уметь. Я была тяжелая, полная, незграбная. Упасть мне всегда было легче, чем устоять на ногах.

– Идем. Покажу.

У мальчиков это как-то называлось: подъем-переворот, «солнышко», выход на руки. Розка делала это все без названий, как без названий, например, летают птицы.

– Все вместе ты не сможешь, но переворот, подтягиваться и не бояться – давай, да? Как стемнеет? Чтоб не стесняться?

– Я не сумею.

– Аленка... – снисходительно засмеялась она.

Это было мое домашнее имя в череде других домашних имен, на которые я спокойно откликалась. Так делают индейцы: прячут за чужим свое, чтобы злые духи не позавидовали и не отняли настоящее. Мои дети сейчас тоже живут в череде постоянных переименований. И я прячу их имена от дурного уха, как прятали когда-то мое.

С Розкиной подачи я стала Аленой. Единственной. Все другие девочки Лены и Оли, приезжавшие к нам жить или приходившие гулять во двор, так или иначе претендовали на это имя. Не знаю почему. Они знакомились с нами и всегда нарывались на Розкино: «Алена у нас уже есть. Другой нам не надо... Ищи себе что-то подходящее. Или не выходи гулять».

Лена большая, Лена маленькая, Лена третья. У нас во дворе была маленькая римская империя, где имя следующей дочери украшал порядковый номер. Мажор, минор, терция, кварта.

Аленой была только я. «Солнышко» у меня не вышло. Но не бояться я научилась. Выходить в переворот, подтягиваться, держаться на руках и стремительно падать головой вниз, перехватывая турник руками. Только «солнышко» не вышло...

Абдуктивный метод – это для сумасшедших. Для божевильных. Точность слов имеет значение. И выбирать самое лучшее и самое верное – это роскошь, доступная только билингвам.

Божевильный – это как освобожденный. Дальше разночтения – по Божьей ли воле или от нее. Сумасшествия бывают разными. Злыми и добрыми. Опасными и безобидными. И тогда разночтений нет. Может быть и так, и этак. По Его воле и без Него.

От общего к частному лучше всего получилось у большевиков и их наследников. От частного к общему – у Шерлока Холмса.

Но Чарлз Пирс заметил, что поиск посылки – второй или первой – имеет смысл. Иногда он только и имеет. Вторая прячется в паузе, в контроле над сюжетом собственной жизни. В пустоте между первой и заключением. Все люди – смертны. Пропуск, пробел, молчание, ничто. А потом вывод: Сократ – смертен.

Абдукция – это предположение о том, что Сократ – человек.

Я хочу вернуться. Потом пауза. Тишина. Тревожные утра, начинающиеся с удара в живот. Молчание, поделенное на миллион или два миллиона таких же историй. И вывод: я не могу здесь жить.

В пропущенной второй посылке есть правда, которой я, наверное, не хочу знать.

Тысячи людей легко меняют место жительства. Плюют на метафору бездомности. Бросают корень, который обвивает чужой, впитывая его соки. Плюют, укореняются. Растут, отбрасывая не тень, а прошлое, в котором их больше нет.

Иногда мое «не могу» бывает не острым, уставшим, оно отдает только в спину, которой неудобно на чужих кроватях. Но чаще таким, в котором мир вокруг как будто застывает. И я вместе с ним. В параллельных нам потоках реальности есть работа, тексты, непроверенные уроки, плохо написанные контрольные, люди, которым нужна помощь. И можно начинать вписываться с любого пункта, не вдаваясь в подробности расписания прибытия или отправления. Но я просто стою, пытаюсь не бояться. Пытаюсь вспомнить, что я это уже умела. И никакой шаг не дается. Вообще ничего. Я не знаю, с чего начать, потому что исчезаю вместе со временем. Проваливаюсь в ничто. Во вторую посылку, смысл которой ускользает.

* * *

Розкин папа был татарин. Для всеобщего удобства говорил, что зовут его Вадим. На самом деле он был Халип. И я не видела никакой трудности в произношении его имени.

А он – видел. Стыд быть не Петром. Не Владимиром. Не Михаилом. Стыд быть другим или просто быть. Стыд и страх, зафиксированные курсом на «формирование новой общности – советского народа». У советского народа должны быть простые русские имена.

Можно было уехать в Казань. Откуда он был родом. Но Розка. Розка и ее мама. Валя? Нина? Я не пока помню, как ее звали, потому что чаще всего она была «Розкина мама» и все.

Она была очень подозрительной. Разговаривая, но чаще слушая, она сразу щурила глаза, выражая этим твердую уверенность в том, что собеседник брешет. Только на свою Розку она смотрела счастливым удивленным взглядом, в котором были и гордость, и восторг, и глупый горделивый вопрос: «Как же это у меня получилось?»

Они оба – и Халип, и Розкина мама – были старше моих родителей. Розка могла быть им внучкой. Я не знаю, ждали ли они ее истово или получили как подарок в минуту, когда мечта уже поблекла, рассосалась, встала рядом со смирением и вызывала уже не острую боль, а тихую улыбку еще одного несбывшегося, каких накопилось так много, что уже и не счесть.

Халип хотел уехать в Казань. Но Розкина мама отказалась наотрез. В Новотроицком у нее были родные – мать, сестры, брат. Для них для всех Розкина мать была кормилицей и путеводной звездой. Силой, которой все жилились, одевались, закатывали консервацию с настоящими крышками, торговали на рынке зеленью и редиской, надеялись на больницу и получали лекарства. И даже путевки... Путевки в пионерские лагеря – где-то в пределах области, не на море, на ставке или речке... В лесу, если сильно повезет.

Халип не мог оставить Розку. Розкина мама – родню из Новотроицкого. Родня победила. Голос татарской крови был совсем не слышен. Но Розка вдруг пошла и записала себя в секцию конного спорта. Из спорта ничего не вышло. Кроме

любви. Розка мыла и кормила лошадей. И ездила верхом только иногда. «Им тяжело и без меня».

«Нет, – я мотала головой. – Ты маленькая, худая».

Она обижалась. Я завидовала, а она обижалась. У нас с Розкой были разные представления о красоте. Ее легкие, прозрачные тридцать восемь килограмм, достигнутые к десятому классу упорными упражнениями со сметаной и кашей по утрам, казались мне прекрасными. Ее можно было носить на руках. Ее хотелось носить на руках. И с первого дня гуляний во дворе местный мужской контингент всегда делал именно это. Ее переносили через лужи, подносили к велосипеду, ставили на крышу, куда все другие заползали сами. «Унести Розку» с места грядущей драки – вообще считалось делом святым. Драка рассасывалась сама собой. Розка смешно сопротивлялась, била носильщика, чем придется и куда попадет. И ее хотелось нести еще и еще. Даже мне...

Халип не жил с ними постоянно. Может быть, все-таки уезжал на родину. Может быть, в ожидании Розки сложилась какая-то другая жизнь, а в ней семья и другие дети. Но несколько месяцев в году он бывал дома. Обычно зимой. В январе, шестнадцатого у Розки был день рождения. «Десять лет – это юбилей», – сказал он и разработал программу. Стол, ситро, салаты, торт из песочных коржей, пропитанных сгущенкой. Он все готовил сам. Розкина мама не умела. А после застолья мы поехали в кино.

В тот, перпендикулярный район. На троллейбусе, остановок шесть. Близко. Но и тогда, и сейчас «близко» – это то, что я могу пройти ногами. Не так. Близко – это когда я понимаю, что можно пройти ногами, даже если идти придется час-полтора. Понимаю. Вижу расстояние в голове. Не боюсь потеряться.

Наверное, ногами было тоже можно. Вниз через мост, потом прямо, никуда не сворачивая. Кинотеатр назывался «Победа». Помпезный, в прошлой жизни имевший сцену, труппу и актеров, он был вычеркнут из живого и переведен в мертвое, повторяемое. Однако сопротивлялся причудливой репертуарной политикой, которую вполне можно было назвать диссидентской.

Документальные фильмы, неореализм, старое советское кино, которое вообще не собирало зала. Гремучая смесь из всего, чему не было границ и названия. В юбилей Розки мы смотрели «Золотого теленка».

Я не знала фамилию актера, игравшего Остапа Бендера. Но почему-то видела, что история для актера – мучительна. Перевоплощение есть, а совпадения нет. Что сам он не верит в обаяние мелкого, хоть и отчасти романтического и великодушного даже беса. Нет, не натужность. Невозможность втиснуть хорошее в плохое.

Слов, которыми я описала это сегодня, в десять лет я тоже не знала. Тогда это было так: я видела, что ему не нравится врать. Мне казалось, что он постоянно подмигивал мне лично и говорил: «Не верь. Интеллигентных бандитов не бывает. Запомни: не бывает».

Фильм показался нам скучным. Розка обиделась на папу. Потому что получились, что праздник был для него, а не для нее. Выходило ошутимое предательство.

Но Халип хотел посмотреть фильм с Розкой. Именно этот, к которому нужно было ехать.

О чем-то он хотел ей рассказать. Может быть, о своей жизни, которая была чем-то похожей на вот эту черно-белую яркую и плохо закончившуюся историю. Может быть, о невмещаемости, о негодных попытках к бунту... Или, напротив, о том, что можно, о другом жизненном горизонте. Не школа – ПТУ – работа, а мир, где сияет Рио-де-Жанейро.

Мы возвращались грустными. Розка была недовольна.

– Тебе понравилось? – спросил Халип.

– Нет, – сказала она. – Купи мороженого, ты обещал. И Аленке тоже...

– Спасибо, – сказала я. – Хороший день рождения. И фильм интересный.

– Зачем врать? – спросила Розка.

* * *

В оккупированном Донецке живет много людей. Сценарии разные. Одни умирают от голода и не могут выйти из подвалов. Бомбят или нет, они все равно не могут. Доверие к подземелью как ритуал фальшивых похорон. Смерть не ищет жертв на глубине двух метров под землей. Она туда их отправляет. Подвал – игра, обман и психоз.

Другие люди открывают рестораны, воруют из квартир нехитрые пожитки, организовывают проверочные таможи с тарифами «хочешь жить – плати».

Между ними – помогальщики. Святые люди с выключенным фонарем личной безопасности. Уже перешагнувшие боль и страх. Научившиеся отдаляться, держать дистанцию, не привязываться настолько, чтобы различать лица беды. Для этих святых все люди – условно одинаковые страдальцы.

Вторая посылка не найдена. Здесь пропущенное звено. Предохранитель. Если позволить разницу, окунуться в нее с головой, то помогать нужно будет только этим. Вот этим конкретным, а не всем. Проникнуться одной болью означает выбрать. А выбрать – это забыть о других.

Святые, как врачи. Кажется, что, как врачи.

Они видимые, говорящие. Публичность – это способ спасти голодных. Невидимкам денег не дают. Они говорят, говорят, говорят. Не как проповедники, а как радио. Фон-присутствие. Но по-другому нельзя: те, что не выходят из подвалов, нуждаются в еде. Круг.

«Нет, людьми не торгуют, что вы. Иногда берут в подвалы, но денег не просят, выпускают так». «Им надо верить. Они говорят, что пойдут в атаку и будут захватывать земли, значит, они сделают это...» «Никто, никто их не победит... Надо уговаривать, давать все, что они хотят, иначе земли эти будут потеряны навсегда».

И ни слова о российских войсках. И ни слова о том, что подвалы – тема всеобщего кровавого умолчания. Те, кто спасает заложников, и те, кто их берет, в сговоре. Убить – просто. «Списать в пропавшие без вести». Поэтому платить надо молча. Фамилий – не называть. Родственникам – не голосить. В прессу – ни-ни. Шум не поднимать. Утечка имени – расстрел. Хотите забрать его мертвым? Нет? Тогда – тишина.

Знают ли святые об этом?

Да. Это называется теперь «протокол безопасности». Чтобы вернуться в город, им нужно предъявить доказательства лояльности. Сказанное и написанное – пропуск назад, в ад, который они выбрали, чтобы не умирали люди.

Эту мысль можно разматывать, как клубок. И если до самого конца, то каппо в концлагерях – это тоже протокол безопасности. И те, кто выжил, им благодарны. А мертвые сраму не имут. Но нитка все не кончается. Чудо, которое скажет всему «стоп», может случиться раньше, еще до всеобщего вымирания, до того времени, когда уже будет просто некого кормить.

Чудо оправдывает «протокол безопасности». А если не оправдывает, то спишет. Как неизбежные потери. Потери, сопутствующие подвигу.

* * *

Сколько их у меня? Сколько у меня лжи, называемой теперь обезболивающими словами «протокол безопасности»?

В Розкиной квартире для меня не было места, где я могла бы жить. Плед, книжка, чашка, телевизор. Что-нибудь. Но нет. Ничего, кроме схожести с собакой, которая бегаёт за собственным хвостом. Кружит бесцельно, злится, рывкает. Ни прилечь, ни покарать.

Плохо. Но вот – зацементированные правила данности, в которых нельзя выбирать и отказываться от того, что уже есть... Зато можно нащупывать ложь, вписывать ее истерично в «ты не такой, ты меня не любишь...» наталкиваться ими на контрудары «нет, это все ты, ты...» Делать вид, примиряясь. Примиряясь, делая вид.

Нам плохо. Нам плохо обоим. От солнца, от неумения жить, от пыльного ветра, что сводит на нет все попытки чистых полов.

Что мы делаем вместе? Мы бежим. Если расстанемся, нас вернут. Разберут по домам, как в детском саду. Суп и глаженные рубашки. Порядок в шкафу и

«хочешь молочка?»

Мы бежим, взявшись за руки. Разомкнем руки – упадем. В мир их любви, да. Беззаботный, чистый, «ну вот видишь, мы были правы... вам не надо было жениться». Их любви.

Правы, правы. Нам нужно было дружить, а не обмениваться кольцами. Но друзей не отпускают из дома на много-много ночей.

Если разматывать этот клубок, называя его протоколами безопасности, если не давать уснуть мойрам, проклиная Лахесис за песни о прошлом, но требуя у Клото прясть, не переставая, мы могли бы дожить до глубокой старости, как все другие, погребенные противостояниями и неизбежностями. Мы могли бы застыть до каменного, мертвого состояния, в котором что воля, что неволя – все равно.

Из квартиры этой мы бы выехали когда-нибудь. Вернули бы ключи Халипу или Розке. Забрали шифоньер и тарелки. Преодолели бы перпендикулярность и еще тысячу ненужных преград. Гордились бы трудностями, потому что ничем другим не было принято гордиться.

Я бы с чистой совестью всю жизнь добавляла туда розового. Нежного. Уравновешивала бы девочкой, которая искала меня все это время. Искала так настойчиво и усердно, что часто я чувствовала ее страх не родиться. Страхом этим из рук падали тарелки, переливалась в ванной вода, падали в суп тараканы. «Так нельзя, без меня никак нельзя».

«Пожалуйста, девочку. Давай попробуем, чтобы была девочка». Ну кто так дружит? Что за глупость? И кто так просит? Без протокола безопасности можно было бы сказать прямо: «Я слышу девочку, которая меня выбрала». И муж с чистой совестью вызвал бы мне психбригаду. Раз в две недели навещал бы. А после ушел бы в армию и сдал меня на руки тем, от кого мы когда-то вместе бежали.

В армию он и так ушел. И сдал, потому что смысла в Розкиной квартире уже не было. Считалось, что беременная я не смогу жить одна.

Нежного достаточно. До самого нынешнего дня – не перестает.
Самовозобновляемый ресурс. Чудо.

Явленное вовремя, как всякое чудо. Живое, неистощимое, настоящее, с ямочкой на левой щеке. Девять месяцев не я, а она носила меня. Девять месяцев абсолютного счастья. Не ускользающего и всегда осознанного чистым, прерывистым вздохом после. Счастья, заполнявшего каждый день простым прикосновением к животу. Ты есть, ты здесь, ты со мной. Больше ничего не надо.

Мне бы по-взрослому оценить Розкину квартиру как вознагражденное мучение. Как пытку, завершившуюся подарком.

Но нет. Сцепление преступления и наказания хорошо для уголовного кодекса. Для колдовских практик черных и белых полос. Для шаманства горя, положенного на алтарь будущей радости.

Это все тоже – протоколы безопасности. Они же вранье. Счастье никак не сцеплено с предыдущими мучениями. Оно – не награда.

Я не могу и сейчас вспоминать без отвращения о той квартире, где мне не нашлось места. Где было много чужого перпендикулярного солнца. Ничего ничему не цена.

* * *

Мы с Розкой учились в разных школах. По месту жительства нам была положена восьмилетка, считавшаяся безнадежным местом, после которого «плохие дети попадают в ад». То есть в ПТУ. Смещенные орбиты позднего советского не могли уже ни вывести, ни удержать никаких ясных смыслов. С одной стороны, страна была очень за труд и сильно за рабочий класс. С другой, угроза ПТУ была последним доводом всех завучей и классных руководителей из хороших школ для приличных детей. Моя была именно такая. После восьмого я спросила у Розки: «Пойдешь к нам?»

Она посмотрела на меня как на безнадежную старую деву, выжившую из ума задолго до битвы при Пуатье. Выжившую, но милую и забавную своими

представлениями о вреде воды и пользе ртути для отбеливания лица.

– Ну, мне-то зачем?

– А институт? Институт... А будущее?

– Аленка, – она покачала головой. – Я не думаю о будущем. И ты тоже.

Мне нечего было ответить. Будущее – фигура речи. Листок бумаги в линию, вырванный из тетради. На нем полоски и какие-то значки, нарисованные шариковой ручкой. Жирной шариковой ручкой, которая начала подтекать, а потому полоски кое-где размазаны... Но это не имеет значения. Почти никто не думал о будущем. Я знала только одну девочку, которая хотела стать актрисой. И одного мальчика, который хотел уехать в Израиль и выучиться там на врача.

Будущее других, наше с Розкой не просматривалось ясно, потому что просмотры эти не имели смысла. Как-то должно было сложиться. Без страсти по профессии, без выделения значимых этапов. Впрочем, нет. До двадцати пяти надо было родить. А после двадцати пяти, так казалось, жизни уже нет. Что-то такое, где трамвай, очередь, кухня, длинные телефонные разговоры. Книги.

Из вязкой мысли о том будущем-прошлом я не могу выйти с достоинством и сейчас. Не смешно. Какой-то провал в никуда. Большое всеобщее «никуда», с которым нельзя сражаться, потому что оно принимало, а не сопротивлялось, и еще лениво посмеивалось, приглашая пересидеть, дружно присоединившись к большинству.

Розка шла в ПТУ не из протеста, а потому, что на ее вырванном листочке был поставлен этот значок. Как на моем – другой. Три буквы, три буквы... Сплошные три буквы.

– Ты – не такая, как все. Ты очень хорошая. Ты... должна учиться. Зачем тебе быть строителем, Роз? Или маляром? Ты же... лучше всех...

– Я влюбилась. В мотоциклиста. Он учится в шестой бурсе. И я буду.

– А мама что говорит?

* * *

Пустой в том разговоре была я. Глупой – тоже я. Все мои слова были или раненые, или убитые. Розкина жизнь складывалась за границами моего «можно и нельзя». Но я знала, что Розка меня любит. Конечно, не за мою выструганную, почти без сопротивления, правильность и не за вынужденное соседство, в котором можно занять хлеб, спички, пять копеек на мороженое.

Я знала, что Розка меня любит. Но не понимала за что. Возможно, сейчас я бы назвала это Розкино отношение ко мне снисходительностью человека, готового все время прощать глупости и несовершенства. Но и теперь я ощущаю его как любовь. И теперь, когда Розка вернулась в мои мысли, я понимаю, что она зачем-то протягивает мне руку. Хочет сказать что-то важное. Про мотоциклиста, про украинский русский, в котором скучают «за», а не «по». Про войну...

Я очень стараюсь, но пока не слышу. Привычно не понимаю. Наверное, поэтому разбираю наши нечастые разговоры и длинное, летнее, завязанное на старый двор детство, в котором слова были совсем не нужны.

В сентябре уже было ясно, что Розка любит своего мотоциклиста куда больше, чем он ее. Может быть, он слыл героическим героем этой шестой бурсы. Скорее всего, слыл. Он гонял в соревнованиях по мотокроссу, не доезжая до призов пары мест. Девушки искали его внимания. Большие, сиськатые, видные, сурово раскрашенные старшекурсницы. Однажды они попытались приучить Розку к очереди и порядку. Взались бить в темном углу возле столовой.

Она рассказывала об том смешно. «Вилка в жопу, вилка в руку, вилка в щеку и снова в жопу... В темпе швейной машины. Вроде не сильно больно, но кровь идет. Кровь идет, они визжат. Дуры...»

У Розки в доме была швейная машина. И тетя Тамара... Тамара ее звали. Царское имя. Вишневые глаза, темные кудри, может, химия, а может, и свои... Красивой лепки руки. Удивительные – маленькие, тонкие, как будто кружевные...

Шила она плохо. «Подрубить» могла, но швы всегда были веселые, как ручьи. А вилку Розка носила с собой давно. Вместо ножа. Вилка считалась старинной, оставшейся от барыни, которую когда-то спрятали в хате, спасая от погрома.

Что-то в этой истории не складывалась. Если погром, то барыня – еврейка. Если в хате, то как она вообще оказалась в селе, если помещиков в степи отродясь не водилось? Я спросила у Розки. Она пожала плечами: «Стырили где-то родственнички... Теперь стыдно. Тебе ж бывает стыдно?»

Я кивнула. Мне постоянно бывало стыдно. И совсем не было воли к сопротивлению. Вернее, она была где-то в самом конце, скатанная в малюсенький клубочек, незаметная и невесомая. Такая тихая, что казалась потерянной или даже не существовавшей.

Она, эта воля, росла из стыда. И наружу вырывалась сама. Неожиданно и некрасиво.

«Я бы тоже могла вилок... Если бы у меня она была...»

«Конечно, могла бы», – легко согласилась Розка.

После избиения старшекурсниц мотоциклист пришел к нам в подъезд. Теперь это уже надо объяснять.

Мы гуляли в подъездах. Осенью, зимой, ранней весной. Пойти было некуда. Пройтись – да. По бульвару, в парк, замерзнуть вусмерть, романтично ловить сапогами снег, мокнуть под дождем... Просто выполнить программу «свидание». А в конце все равно – подъезд. Чугунная батарея, лестница вниз – к черному ходу. Большие окна, заплеванные ступеньки, покрытые газетой, курткой или пылью. Глазки квартир для прямой родительской видимости.

Если вы умеете долго целоваться стоя, в вашей жизни точно был подъезд.

Мотоциклиста звали Геной. Он курил «Космос». И был, наверное, красивым.

Он сказал Розке: «Я пришел, потому что ты победила».

«А если бы я проиграла, то что?»

Гена пожал плечами. Розка ушла домой. Хлопнула дверь.

«Дура, – крикнул ей Гена. – Я больше не приду и больше не попрошу... Сама приползешь».

Мне показалось, что так говорят друг другу люди, прожившие вместе не один год. Я думала, что в первый раз должны звучать какие-то другие слова. Я подслушивала и подглядывала. Розка пригласила меня сделать это.

Зачем я оправдываюсь сейчас? Перед кем? Кто этот значимый Другой, которому нужно отчитаться в том, что я делала подлость не по зову души, а по разрешению?

«Что мне делать?» – спросила Розка.

«Выкинь его из головы», – сказала я.

Универсальный рецепт гордой девушки. Семейное наследство. Распрямитель спины на все случаи жизни.

Если тебе больно, надо сделать вид, что не больно. Главное – гордость и чтобы никто не догадался. С гордостью хорошо выть на Луну.

«Как это “выкинь”»? – спросила Розка.

Я тогда не знала как. И потом не знала. И сейчас. Голова оказалась неожиданно большим местом, где помещается все. Однажды здесь, в Киеве, подумала, что надо начинать мечтать об Альцгеймере. Если не суждено вернуться домой, то пусть будет он. Пусть придет и выкинет из головы все и саму голову тоже. «Не надо, – попросил коллега. – Не надо. С ним еще хуже. Каждый день ты не знаешь, где ты и что ты... Страшно просыпаться. Не тапки ищешь, а себя. А?»

Не надо мечтать о том, что ты уже имеешь. Это большое облегчение. И если бы только утром... Это ощущение невозможности, небывалости, в котором от крика до ступора, от желания стать и не двигаться никогда и никуда до резкого рывка, кружения на месте, в поисках возможности схватить себя за хвост – как у кошки, как у Уробороса. И еще страх, что неопознанность не закончится никогда, а за ней придет усталость и смирение. И вместо ежедневно наново выучиваемых букв, шагов и смыслов, будет кресло и взгляд, замерший в согласии больше не

делать попыток к фокусу.

Альцгеймер уже есть. У Одиссея, видимо, он тоже был. Круги ада можно наматывать без Вергилия и никуда особо не спускаясь. Круги ада – в морской волне, лживом пении сирен, в палке, загнанной в единственный глаз циклопа.

Чтобы замер чужой взгляд. А свой остался. Одиссей рвался домой, выучивая заново слова и смыслы, чтобы не замереть, глядя на пляжи солнечной Греции, дешевеющие от кризиса и несезона? Он мог быть живым только в Итаке? Живым или царем? И почему Эней сделал себе новый город, а Одиссей, хитроумный, жестокий, лицемерный, не знающий пощады, не смог?

На Итаке были терриконы?

* * *

В декабре Розка устроила выход в общежитии ПТУ. «Пришла и устроила выход, ага», – смеялась она, рассказывая.

Я была ей тогда хорошим слушателем. Я не перебивала и не задавала вопросов. Вообще. У меня не было слов, потому что я не знала, что другая жизнь может быть настолько не похожей на ту, про которую писали в книжках.

У Гены был день чего-то там... Может быть, победы в мотокроссе. Хотя, какой в декабре мотокросс? Именины?

Именины... У нас дома дни рождения принято было называть именинами. Сундук, утка, яйцо, игла. На конце смерть атеистическому воспитанию. Это если спросить: «Почему?» Но детское и семейное – всегда данность. У всех «пешеходы по лужам», у нас – именины. Ангел-хранитель, наверное, смеялся.

Что-то все пили. Гена играл на гитаре. На колени ему поочередно взбирались исколотые вилкой старшекурсницы. «Когда на коленях все, это означает, что никто», – сказала Розка.

Она выпрыгнула из окна. Розка. Выпрыгнула из окна, втянувшись в «слабо?» или какой-то иной дурацкий спор. Не так. Она сама его и организовала. «Гитара,

обжимансы, засосы... Ему в старости даже вспомнить будет не о чем. Понимаешь? А теперь, как бы там ни было, я – навсегда».

Как бы там ни было... Да. Третий этаж. Розка планировала приземлиться на ноги, потому что кто-то ей сказал, что Сергей Бубка обычно падает именно с такой высоты. Правда, на мат, спиной и специальной техникой. Но не разбивается же, правда.

Еще Розка планировала умереть. «Ты говорила, что я очень красивая... Меня можно было сфотографировать в гробу на память?»

Был еще третий вариант: поломаться. Шея, спина, ноги. Разрывы внутренних органов. Инвалидность, паралич, кровать. До смерти ходить под себя. Стареть, не как все, а как мука совести.

«Все равно я не хотела без него жить. А он без меня – вот...»

«Все равно я не хотела без него жить». Миллионы людей произносили эту фразу. Девочки чаще, чем мальчики. Но мальчики тоже. Миллионы. Но их нежитье кончалось плохими или хорошими стихами, дебошем в ванной, запертой снаружи, прогулами уроков, кушеткой у психоаналитика, мордобоями, иногда – войнами.

Розкина фигура речи завершилась полетом из окна. Не, я не призываю следовать ее примеру. Я думаю. Я думаю о том, что, может быть, не так уж не могу... Не так уже не могу жить без города, если не ищу третьего или десятого, чтобы наверняка, этажа. Если просто замираю, значит, надеюсь, что и он тоже – не «вот», а не может? Ждет?

Она называла свои поломанные ноги «куколками». Гипс был от щиколотки до колена. Тот, кто укладывал Розкины ноги в ловушки, расходных материалов не жалел. Объем талии каждой куколочки был таким же, как талия самой Розки. Соединить ноги ни в коленях, ни даже в бедрах Розка не могла.

Куколки являли собой абсолютно отдельное архитектурное сооружение, которое вызывало слезы тети Тамары. Иногда мне казалось, что это слезы восторга. Розка с куколками была неподвижной, уязвимой и зависимой. Маленькая Тамара носила маленькую Розку на руках, покачивая в переходе от кровати к туалету.

Покачивая и напевая «придет серенький волчок...» Розка не вырывалась, не буйствовала, соглашалась на подгузники из марли, потому что трусы уходящей советской эпохи застревали у щиколотки и не шли наверх, хоть матом их крой, а хоть по-хорошему проси. Беструсая Розка теряла весь свой гонор и послушно открывала рот для творожка с обещанным доктором кальцием для лучшего срастания костей.

Гена приходил каждый день. Сначала с мотоциклом. Он проезжал по Челюскинцев, под нашими окнами, сворачивал на Макшоссе или на Гурова, если проезд налево был открыт, там делал обратное движение по 50-летию СССР, поднимался по Театральному проспекту, снова сворачивал на Челюскинцев и с угрожающим «р-р-р-р-р...» иногда поднимаясь на заднем колесе, как на лошади, иногда замедляя ход, прокатывался или проносился опять и опять. Раз по пятнадцать.

Потом пришел без мотоцикла. Сел на скамейку возле подъезда, аккуратно поставил рядом ступни, слегка развел колени, чуть наклонился вперед, уперся правым локтем в левую ногу, а подбородком в тыльную сторону ладони и просидел, не поднимая глаз, целый час. Целый час...

«Спит он, что ли», – спросила Розка.

Я еще ничего не знала о Родене. А когда узнала, то в каждом его «Мыслителе», подлинном, копированном или украденном, находила только Генку, которого в мыслительном процессе заподозрить было трудно. А потом я находила Генку и в «Поцелуе» и в «Вечном идоле», и в «Поэте и музе». А после Родена Генка настигал меня через Бернини, у которого Плутон похищал Прозерпину, через Гаэтано Челлини, через Джамболонью, через всех голых мужчин, зафиксированных в мраморных объятиях уже не с самим собой, но с женщиной, которую им хотелось до полного превращения в крошку.

А лица Генкиного я так никогда и не разглядела.

* * *

Что будет, когда меня не будет? Первый или, может быть, второй детский страх, прилепившийся на всю жизнь. Теперь уже без замирания. Теперь уже скорее

кроссворд, чем безостановочный полет в пропасть.

Взрослые женщины нашей семьи, которых когда-то было принято слушать, научили меня быть готовой к смерти при любом выходе на улицу. «Сбитость машиной» даже там, где машины не ездят, – у мусорников, магазинов, на детских площадках, в пешеходных зонах. Надо быть готовой к машине. Чистые волосы, маникюр, белье, колготки без дыр и зацепок. На плече у милиции или спасателей, на столе у патологоанатома надо быть во всеоружии. Надо, чтобы никто не сказал: «Фу, какая грязнуля».

«Привести в порядок бумаги», – говорили взрослые мужчины нашей семьи. Откопать из огорода сберегательные книжки, выдать место расположения ордера на квартиру, сообщить, какие стены обклеены облигациями государственного займа индустриализации, достать и положить на видное место страховки...

Маникюр и сберкнижка казались моей семье хорошими рекомендациями для святого Петра.

И тем не менее... Черновики рассказов, разбросанные по старым университетским конспектам. Десятки которых были почти полностью написаны, но потеряны, потеряны в грудe бумаг навеки... Еще блокноты с двумя-тремя предложениями, которые когда-то казались мне гениальными. А потом забылись к чертям.

Что будет, когда меня не будет? Не отвеченные письма в полупустом ящике электронной почты. Три начатых и погибших под собственной пустотой текста. Две статьи, в которых был смысл, но не было сил, чтобы мысль казалась ясной, простой, но именно этим и удивительной. Разбросанные по рабочему столу папки. Документы, таблицы. Такой среднестатистический набор всезнайки, неспособной понять, зачем все это нужно..

Что осталось после Розки? Что осталось после Розки, не дожившей до Интернета, до мобильного телефона. Просто – до телефона? Что осталось?

Генка?

Кости ее никак не срастались. Но новые гипсы становились чуть меньше и чуть изящнее. «Знакомься, это Маша и Даша», – сказала Розка, когда он через две, а может быть, и три недели наконец-то отважился постучать в дверь, войти и сесть на пол у ее ног.

Машу и Дашу сегодня звали бы, наверное, Барби и Кеном. А гипсы были бы покрыты автографами, рисунками и пожеланиями добра и здоровья. И Розка могла бы читать собственные ноги, рассматривать их и показывать самые удачные надписи всем, кто приходил к ней подежурить: покормить... поносить на загривке до туалета, пересадить из кровати в кресло.

Но никто из нас не знал, что так можно. Даже Розка не знала. Поэтому Гена глядел на серый, чуть испачканный гипс, на коленки, едва прикрытые розовой ночной рубашкой.

...Полный рот слюны и ощущение пересохшего горла. Мои родители-врачи назвали бы это вагоинсулярным кризом. Но я помню острое чувство участия в чем-то запретном, личном, невозможном для советских школьников, не соединенных узами брака.

Волжские татары играют на варгане. Казанские называют его кубызом. Не Шуберт, не Шопен, а звук нарастающей любовной тревоги, вибрирующего желанья, в котором первая волна не успевает удариться о небесные своды, а потому задыхается под грузом второй, третьей, которые тоже не успевают. Накатывая друг на друга, они образуют круги, воронки, начиненные пружинами, которые могут выбросить вверх, выбросить и забыть где-нибудь на белом облаке, до следующей волны, которая заберет все, что осталось от полета, и воткнет это избыточное, уже не нужное, в новое кружево все сильнее нарастающей тревоги, не здешней уже, уставшей и предназначенной кому-то другому. В другой истории, в другой жизни, участники которой еще не знают звука кубыза, который волжские татары называют варганом, а когдатощние греки – пением сирен.

«Уходи, Аленка, – хрипло сказала Роза. – До унитаза, если что, он сам меня донесет... Уходи», – повторила-простонала она.

* * *

Квартира номер пятнадцать – ее, Розкина. Моя была шестнадцатой. После года жизни в Киеве, после тысячекратного повторения-написания своего нового адреса, очень не быстро, что, в общем, мне свойственно и описывается в семейных хрониках как постоянное неприсутствие в реальной жизни... В общем, после года жизни я осознала, что не могу жить, не могу, не хочу больше жить здесь и, с настойчивостью унылого маньяка, таки не живу в киевской квартире номер пятнадцать.

Но вряд ли поэтому, вряд ли только поэтому она, моя соседка, снова и снова тянет меня к столу, усаживает за компьютер и осторожно заставляет вспоминать историю, которой, в сущности, не было.

Не было нашей общей – с тайнами-секретами-ночными разговорами – истории двух взрослеющих девочек. С тех пор как мы перестали гулять во дворе, звонить в двери с вопросом: «Выйдешь?» кричать под окнами: «Возьми мяч и скакалку», тащить наших отцов печь картошку и жечь «кастрик», с тех пор как классы наши стали старшими, а лифчики пришлось носить не из приличия, а для укрощения нелепо скачущих при ходьбе грудей, с тех пор как я вцепилась в несуществующее будущее, где зачем-то был университет, но совсем не было меня... Нет, мы не отделились, потому что никогда не сблизались до полного проникновения. И дистанция эта была не моей. Ее. «А, тебе это будет не интересно», – часто говорила Розка. В этом хитром и спокойном «а-а-а-а» не было ничего унижительного. И тайны острой, которую следовало бы выведать, не было тоже. И угрозы – «не лезь не в свое дело», и родительского – «вырастешь – потом поймешь»...

Я не была любопытной. Я не была настойчивой. От меня легко было огораживаться. Но теперь я думаю, что Розка блюла мою чистоту. То, что она принимала за чистоту и то, что на самом деле было вот этим пресловутым неприсутствием. Я была назначена ею «хорошей девочкой». По-настоящему хорошей. Не задавакой, не хвастуньей, не принцессой цирка, не зазнавшейся богачкой. Она не хотела меня испортить.

Наша лестничная площадка в старом, 1937 года, доме с двумя квартирами друг напротив друга была фронтиром, иногда движущейся, иногда устойчивой границей между мирами, которые, по Розкиному мнению, не имели возможности слиться, соединиться, стать целым, пусть разным, но целым.

Встречаясь, мы обе попадали в being in between, в бытие между. И если бы были радиолюбителями, то должны были бы еще какое-то время сверять приемники в поисках приемлемой для обеих волны.

Но мы не были.

«Привет», – говорила Роза, улыбаясь через плечо Генки, который теперь каждый день носил ее на улицу и высаживал, как цветок, на нашу скамейку перед подъездом.

«Привет», – говорила я, заливаясь жаром от стыда, который иногда испытывают соглядатаи.

Привет-Привет. С одной ноги сняли гипс. С другой – пока нет. Нужна операция. Аппарат для растяжки. Но, может, и обойдется. Поэтому пока костыли и нужно учиться ходить. Ходить, опираясь на Генкино плечо. Со второй ноги сняли гипс. «Ноги теперь почти ровные, да, Аленка?» Ровные, но слабые. Мелкие, семенящие шаги. Голова кружится, под мышками синяки от костылей. Зато сами костыли – оружие. Лучше, чем вилка. Костылями можно убить.

Маленькие шаги. Зато стоять уже почти легко. В училище придется взять академический отпуск. Хорошо, что нам не в армию. И пока только шестнадцать. Но Генке уже восемнадцать. И значит, весной? Значит, весной... Зато в спортивную роту. В спортивную роту.

Как только Розка пошла своими ногами и потерялась где-то с девочками на целую ночь, праздную свободу передвижения, он ее бросил.

Просто больше не пришел. И в спортивную роту его провожала какая-то другая невеста. Девица, отец которой увлекался мотоциклами и имел выходы на ГДР, где можно было доставать или даже просто покупать нужные детали, те, наверное, самые нужные, без которых невозможно проехать по улице Челюскинцев на заднем колесе.

Я узнала об этом от тети Тамары, а не от Розки. Тетя Тамара плакала. А Розка нет.

Я никогда не видела, чтобы она плакала.

* * *

Человечество слишком хорошего о себе мнения. Может, не человечество, а только его западная, как будто самая прогрессивная часть. И может быть, не все человечество, а только те, кто говорит и пишет, нанятый великим заговором цивилизации. Теперь я знаю, как это: рассовремениться вмиг, почуять призыв самца, наделенного дубиной АК и бросить к его междуногам яйцеклетку, готовую к размножению. Государственная Принадлежность Нашивок и шевронов самца не имеет значения. Свой, чужой ли – не важно.

Безумие войны – ее биология. Биология грубой, воплощенной, открытой, тупой силы, гарантирующей рождение не умного, тонкого и интеллектуального потомства, а особи, способной выжить. Туман первобытности, оказывается, не рассеивался никогда. Тихо лежал в низинах, в шахтных отвалах. Впрочем, в предгорьях и междуречьях Балкан, на пляжах Адриатики, в рабочих кварталах ирландских городов он лежал тоже. Лежит...

«Напрасно вы бежали. Война так умножает мужчин. И в количественном, и в качественном смысле. Есть, из чего выбирать. Есть, ради чего жить. Хотя у вас, кажется, есть какой-то муж. Но если он не воин, то вам меня не понять...»

Библиотекарша. Фитнес, страсть к декольте, золотые нити, чтобы лицо оставалось молодым, лигурийское побережье в несезон, невыразительные любовники и одиночество, не скрываемое, потому что мы – приятельницы. Теперь одиночества нет. Есть генерал. Головокружительная карьера. Из прапорщиков сразу в генералы. Она зовет его «генералом песчаных карьеров». Потому что помнит фильм. Он – нет. Не помнит. Может, этот фильм не показывали в Рязани, может быть, он был слишком молод. Плюс работа на стройке – утомительная и монотонная. Не до кино. Библиотекарша надеется родить, и голос ее светится так, как будто в нем тоже – золотые нити. Я слышу их в телефоне, а двадцать тысяч лысых голов, обритых во Франции в 1944-м, кивают в такт – мелко, немного трусливо и виновато. В том времени, которое никогда не кончается, потому что не имеет линейности, в том, что течет неспешно по своему предназначенному кругу, в том, что застывает в пошлом реверансе и ехидно подмигивает современности, моя библиотекарша не первая и не последняя.

Но даже без войны. Даже без войны... Без этого широкого отчаянного жеста, вычесывающего всех вшей цивилизации одной гребенкой... Фрики и карлики, белые слоны, горбуны, бородатые женщины, младенцы-вундеркинды, прорицатели и глотатели шпаг, стекол и флешек, производители странных звуков, мастера, рисующие песком и ветром. Женщины-змеи и мужчины-крокодилы – они бесконечные герои нашей средневековой ярмарки, неизбывные спутники хорошей продажи колбас, брюквы, тюльпанов, селедки, компьютеров, самолетов, «мистралей» и войны. Войны, которую тоже можно хорошо и выгодно продавать.

Сейчас Новотроицкое – между. Модное-модное для потеряшек, перебежчиков и социальных сомнамбул – между.

Между нами и ими, между своими и чужими, между признанными и как будто не существующими, между записанными и вычеркнутыми. Можно было бы закончить – между жизнью и смертью. Но нет. Со смертью Новотроицкое как раз вместе. Хотя потом мы посмотрим на это по-другому.

Потом, после войны, оно будет считаться поселком счастливой судьбы. Таких во Вторую мировую было великое множество. Отшиб – это удача. Два, три шага от столбовой дороги, от трассы, где начинается и кончается фронт. Чуть в стороне, без заводов и банков, без богатств, годных к отжиму. Факт географии, которой чудом не по пути с войной. Там, за поворотом, там, за рекой, за лесом, за оврагом, за райцентром... Там, где в битвах за территории и ресурсы – стратегический и тактический ноль.

Смерть прилетает сюда случайно. Компактным «градом», направленным ошибкой наводчика. Минным полем, проросшим убийцами за одну ночь, как у царя Колхиды. Танковым поединком между заскучавшими от перемирия оккупантами, игрушечным, как будто, без внутренних потерь. Только с внешними, с внешне летящими снарядами в сторону Троицкого, Еленовки, Доли...

Укрывшись от войны ненужностью и бесперспективностью, можно жить, наблюдая, например, погоду. Но унюхать, подслушать, почувствовать, что на завтра назначено умирать и убивать, невозможно. В больших городах, где стоят штабы, бессердечное завтра можно узнать по пружинистой походке оккупантов, по лишнему стакану водки, принятой в вечерней увольнительной, по секретному

братскому телефону, которому «свой-чужой» сделал предупреждение...

Топчусь... Снова плыву этим своим большим гребком, иду окольной дорогой, проявляя не свою ясность, не склонность даже к патологической детализации, а страх признать, что дальше буду тянуть за уши историю этого Розкиного появления, буду опознавать сигналы, называя их судьбоносными знаковыми совпадениями, буду выдумывать то, чего нет, чтобы объяснить себе, почему вот уже который месяц я думаю о ней, не нарочно стертой из памяти хороших двадцать лет назад.

* * *

У войны вкус железа. У войны голос сухой статистики, где убитые теряют имена, становясь «двухсотыми», и раненые – теряют, растворяясь в обнадеживающей цифре «триста».

Перемирие – это осознаваемое горе. Для каждого мертвого появляется время, потому что можно войти в скорбь медленно, вне ежедневного счетчика, похожего на кассовый аппарат, выдающий к оплате чек, который оплатить уже не сможет никто.

Плотность беды в перемирии выше. Очевидным становится всякое дипломатическое вранье и бессмысленной – надежда. Война не закрывается на обед. Перемирие – не переучет и не ревизия. Оно – иллюзия подлой тишины, прерываемой внезапными атаками и снайперскими охотами.

Перемирие – постоянные похороны, где есть время для имен. Для последних записей в ФБ, для улыбок, оставшихся только на фото, для улыбок, которых теперь уже не стереть. И в этом всем вдруг – странные попытки нащупать добро... Уравновесить... Вдребезги разбитое зеркало, но цивилизация пытается отразиться хотя бы в осколках. Напрасный труд. Архаика торжествует, потому что «перебить смерть» можно только чудом или уродством. Фрики, белые слоны, предсказатели...

Глухой мужчина тридцати лет. Глухой из поселка Н., что находится в прифронтовой зоне...

«Н» – любимое название уездных городов. И вот теперь – поселков. «Да» и «нет» не говорить, черного и белого не называть. Все секрет и ничего не тайна. Город – не Господь, но мы не называем имя города все. Впрочем, Донецк.

Впрочем. Донецк с невозможностью аппетитно цокнуть в конце мы зовем теперь город До.

Все иные – «Н». Гарантия умолчания для будущих поколений. Страсть к типичному, явленная через презрение к уникальному. И протоколы безопасности, да. Чтобы никто не узнал, где на самом деле живет глухой мужчина, который чувствует начало бомбежки ногами.

Глухой мужчина может и руками, и спиной. Иногда он ложится на землю. Но чаще – нет. Стоит. Ноги слушают дыхание дорог, ритм движущихся гусениц, «градовых» колес. Если земля говорит ему об опасности, глухой мужчина садится на мотоцикл и с ревом носится по главной улице поселка. Люди послушно уходят в подвалы, потому что в Н. это совершенно не сложно. Подвал есть в каждом доме – огород, сад и подвал, где рядом с капустой, соленьями и картошкой можно пересидеть и обострение, и зиму, и весну, и даже целую жизнь. Люди уходят в подвалы, потому что он ни разу не ошибся. Но в самый первый все, конечно, подумали, что дурак, клоун и всегда такой был, с рождения – идиот, мычал что-то... Всего три семьи тогда убило. Еще деда одинокого, и тетке из райсовета оторвало ногу. Теперь – верят. Два раза ж учить не надо. И береженого Бог бережет. И вообще...

Корреспондент сетует, что глухой мужчина разговаривать с ним не захотел. И его отец не захотел тоже. «На прифронтовых сложно найти собеседника».

Поэтому в прошлый раз был гусь. Гусь возле блок-поста уходил в укрытие за пять минут до обстрелов. А в позапрошлый – пес. Пес прятался в окоп и оттуда выл. Пса называли Ангел, хотя до этого он вполне откликался на любое имя.

Теперь – глухой мужчина. И я верю в его существование. В поселке Н. между своими и чужими, между нескончаемым и окончательным у меня был когда-то глухой знакомец, которого хотела забрать моя соседка Розка. Я помню его маленьким – сначала младенцем, потом годовалым молчальником, потом – выбракованным из сада трехлетним красавцем в джинсах, состроченных тетей Тамарой из Розкиной юбки.

А отца у него, как и у его бесчисленных братьев и сестер, не было никогда. Только мать по имени Наташа. Розка называла ее безотказной давалкой.

Но вот странно: в иерархии важных жизненных ценностей, запланированных в виде будущего, Наташа занимала тогда первое место. Я была школьницей, Розка – пэтэушницей. А она – с настороженным, обиженным взглядом и неуместной, как будто взятой напрокат, как будто постоянно отклеивающейся улыбкой, была матерью.

* * *

После Гены Розка уехала «в село» на два месяца. Потом вернулась, влюбилась, устала и уехала снова. Она пристрастилась к этим отъездам так, как позже или, может быть, в это же время к наркотикам – веселой дури, сонливым таблеткам, сваренной на цыганском поселке «ширке».

Промежуточному Розкиному жениху было двенадцать лет. Она раза три с гордостью показывала мне фотографию смазливого мальчишки. Красивого, черноглазого, снятого, наверное, для школьной доски почета – в белой рубашке и пионерском галстуке.

Узел, завязанный причудливо, не так, как завязывала его я, запомнился лучше всего.

«Мы качаемся на качелях. Он умный и любит физику. Я не бум-бум в физике. Умнею на глазах. Мы качаемся на качелях. Пока не целуемся, не бойся».

А звали его Артур. И в имени или в его придумке была попытка вырваться куда-то туда, где были лошади, замки, темные воды Сены, Темзы, шпаги, жвачки и Джо Дассен.

Шестнадцать и двенадцать. Такое же, в сущности, окно, в которое уже вылетала моя Розка. В этом возрастном разрыве была безнадежность: «все нельзя» и «все невозможно». Но в нем же сила настоящего. Сила обычного дня, который не кончается, не исчерпывается, но только начинается снова и снова для того, чтобы качаться на качелях и слушать физику, в общем-то похожую на музыку, если бы кто-то взялся ее пересказать. И еще безопасность.

Всякую нелепость, которую Артур мог бы сотворить – уход, каприз, «другую девочку», двойку по математике, «я сегодня не выйду», – можно было бы тотчас накрыть пионерским галстуком и под ним торжественно похоронить. Сопляк, молокосос, эксперимент.

Качели не были ни мотоциклом, ни тонкой проволокой, ни канатом, Розкиной попе не было и не могло быть на них больно.

Она светилась. Мягко улыбалась, замолкала на полуслове, проваливаясь в точно хорошие воспоминания. Не слезавшиеся, не пыльные, не хранимые для черного дня – вчерашние и сегодняшние ее воспоминания были светлыми, наверное, смешными, зацепившимися за наше общее – или их с Артуром общее – детство, которое можно было отпустить, а можно было и не отпускать.

Боюсь, что там, на стороне пионера Артура, все было по-другому. Знаю, что было по-другому. Одиннадцать и двенадцать – это возраст, на который невозможно смотреть. Нет оптики, линз, микроскопов, очков, глаз нет тоже. Я зажмуриваюсь на своих двенадцати. И теперь – на двенадцати своего сына.

Там нет легкости. Вообще нет легкости. Шаг к пропасти, и весь вопрос в том, какого она окажется размера. Не принятые всерьез кризисом переходного возраста, не допущенные к настоящей любви, обязанные к наивности, мы переживаем эти элевен-твелв с закрытыми глазами и сбитым дыханием. А иногда и вовсе без него – просто набрав воздуха в грудь, чтобы выдохнуть там, где будет безопасно.

Безопасно уже не будет. Но мы выдохнем, конечно, сохранив молчание о том, как взросло, как зрело – может быть, первый и единственный раз зрело, как честно, бескомпромиссно, как подсчитано, измерено и признано негодным было все, связанное с телом, с будущим, с тревогой не стать тем, кем ты действительно себя видишь. Потом мы убедимся, что все не так страшно, что мир является удачной подделкой себя самого, спрятанного в надежном месте. Мир является копией никем никогда не виданного идеала, копией, созданной на скорую руку – криво, небрежно. И в общем-то, он не требует ничего настоящего, соглашаясь на притворство и оставляя в стороне, в тени то первое и последнее элевен-твелв, в котором было так остро, так сильно и так, как могло бы быть.

Артуром звали первого супруга Екатерины Арагонской. Ему было четырнадцать лет. Ей – шестнадцать. И эти подробности стыдливо умалчивала советская историческая наука, сетуя, однако, что в те стародавние времена возрасты жизни были чуточку иными. Впрочем, на то он и присвоенный первобытными вождями функциональный марксизм, чтобы сетовать и не вдаваться в подробности всяких ничтожных личных жизней, даже если они были столь бурными, что ради брака или немедленного развода создавали государственные церкви и провозглашали себя их главами.

Через год Артур, муж Екатерины Арагонской, умер. А она перешла по наследству к Генриху Восьмому, семейная жизнь которого складывалась каждый следующий раз хуже, чем в предыдущий. Собственно, церковь тоже он. Только не ради Екатерины, а против нее.

Это только кажется, что возрасты жизни были иными.

В городе До сейчас действуют партизаны. Листовки. Надписи, подпольные газеты. Взрывы машин с оружием. Уничтожение радиолокационных станций.

«Никогда бы не подумала, что это может происходить в двадцать первом веке», – говорит женщина из города Киева.

Оптика неизбежного прогресса – такой же обман зрения, как любой другой, оснащенный техникой способ смотреть на мир.

Екатерина Арагонская и ее мальчик Артур, как пишет средневековый хронист, не познали друг друга, а значит, не стали мужем и женой. Возможно, они качались на качелях, говорили о теософии, обсуждали придворные сплетни и рассматривали в бойницы замка очередную битву, которую потом называли войной.

Она не говорила: «Этого не может быть в шестнадцатом веке...»

И он не говорил. Всадников Апокалипсиса ждали с минуты на минуту в любой день, месяц или год. И они появлялись то на Косовом поле, то при Пуатье, то при Кресси, а позже на реке Марне, они крутили ручки верденской мясорубки и трубили общий сбор, завидев дымы газовых камер, они вскрывали животы в Сребренице и в Дамаске, в Славянске и Луганске.

Они никуда не делись. И двадцать первый век – не гарантия и не откупные, заплаченные всадникам Апокалипсиса с процентов по вкладам технического прогресса.

* * *

Итальянско-боснийская писательницу зовут Эльвира. Она говорит: «Сначала я была югославкой. Но хорваткой. Или просто хорваткой. Потом, в начале девяностых, я узнала, что боснийка. Потом была Сребреница, в которой исчезли наши мужчины... Итальянкой я стала потом, а может быть, и не стала».

Она говорит: «Теперь, после Боснии, ты всегда половина и половина. И ты всегда или виновата или не виновата. Между постоянным доказательством невиновности и навязываемой виной ты и существуешь. А больше нигде. Ты все время заполняешь какие-то документы, которые проявляют, должны проявлять твою лояльность. И кто-то оценивает, правду ли ты написала. В эти моменты все остро... В эти моменты ты точно присутствуешь. Ты подозрительна, а стало быть, нужна. Вовсе другие – ты не здесь и не там. И не будешь больше никогда и нигде. Времена изменяются, изменяешься ты, изменяется язык, который невозможно догнать и понять. Даже если ты вернешься, это уже будешь не ты. И дом, в котором ты жила раньше, уже не будет твоим домом...»

«Нет, – говорю я. – Нет половины и половины».

«Ты счастливая. Я запомню и буду завидовать».

Я хочу ей сказать, что нечему. Нет половины и половины, потому что нет ничего. Ноль и ноль. Их можно складывать и отнимать до бесконечности. И никому ничего не будет.

«Я уже могу вернуться, – говорит Эльвира. – Там тихо, безопасно. О прошлом в глаза друг другу не смотрят. Там есть пятьдесят квадратных метров, которые моя собственность. Но я не узнаю там ничего. Если думать, что это отрезанное тело, то я не узнаю свое тело...»

Я никогда не спрашивала у Розки о том, где она жила до нашей общей лестничной площадки. Где был ее город, ее школа, ее детская площадка, гаражи, стройка, развалины старого общежития. И наш обычно любопытствующий двор – Оля, Надя, Катя, братья Крутушкины, дотошные ко всем новеньким, приезжающим или просто переходящим через дорогу, из другого двора, – не приставал к Розке с вопросами.

Она не переехала из другого района нашего города До, потому что подруг из прошлой жизни не было даже в упоминаниях. Никого, кроме Наташки, кроме сказанного о ней «что ты хочешь от вспомогательной школы», сказанного с болью, а не с брезгливостью, и подхваченного моим жалким отличником «хочешь, я попробую ее подтянуть»... Никого и ничего, кроме места со странным для советского слуха названием «Новотроицкое».

Когда витаминизация пионером-Артуром закончилась, Розка уехала снова, а через месяц вернулась с коляской на низких колесах, такой старинной, что ее можно было снимать в ретрофильмах. Сказала: «Подарок от барыни». Я не поняла, о коляске она или о Саше – маленьком мальчике с красивым взрослым лицом, замершим в абсолютной сосредоточенности, в такой внутренней собранности, какую редко встретишь среди людей, считающих себя зрелыми.

«Цыганча, не иначе... Не признается, дура, кому дала. И среди наших – никто ничего не говорит», – у меня здесь пауза, а у Розки – сразу без перехода: «У твоих знакомый ушник есть?»

«Ушника» нашли. Он не считал случай Саши органически безнадежным. Какой-то малый процент, какая-то глубокая часть сложного аппарата у него работала, но социально... Он так и сказал Розке, что социально семья не вытянет, а потому интернат для слабослышащих как гарантия хоть какой-то реабилитации. «Мамку его хорошо реабилитировали. Спасибо». Розка плюнула врачу под ноги. И мои родители долго замаливали этот ее грех, чтобы потом, в возрасте неизбежной старческой глухоты, им было к кому обратиться.

Не пригодилось. Папа и мама теперь тоже в Киеве. И да, папа плохо слышит. И нет, не хочет слышать лучше. Все, что ему нужно будет узнать, поймет и так. Он спрашивает: «А скоро домой? Или уже никогда?»

У итальянской-боснийской писательницы было и есть время, которое может измениться. А у меня и у моего папы – нет. В августе, через год после бегства, которое потом как-то правильно назовут для учебников, я поехала на восток. Если не считать сто километров значимым расстоянием, то можно было бы сказать, что я поехала домой. Почти домой.

Шпалы пахли углем. Окна поезда были закупорены наглухо. Зато в туалете – старинной конструкции унитаза. Нажми педаль – посмотри в дырку. Из дырки – воздух. Можно смеяться. Родной воздух из толчка, да. И да, у нас все так. Через вот это вот место.

Есть на земле другие люди. У них все чисто, правильно и аристократично. Они едят моллюсков. Носят белые одежды. Живут по заповедям. Они не замирают над дыркой, из которой вдруг резко поднимается воздух, принесенный ветром из старой шахты. Старой, заброшенной шахты, где уголь похож на котят, извалявшихся в саже. Вечером в ста километрах от дома была еще полынь. А потом – на вокзале – дикая ромашка.

Я не люблю степь. Она как море. Линия горизонта прорисовывается в бесконечности. Мне неудобно, если взгляд бежит. Бежит, бежит, не может остановиться. Мне кажется, что бегу я сама, а потом падаю и исчезаю. Меня нет, потому что не успеваю, не могу догнать. И туда, за бесконечную линию горизонта, взгляд уходит сам, оставляя меня беспомощной и слепой.

Я не люблю степь. Но вот выяснилось, что без нее весь этот год я не дышала.

Так что папа прав: слух здесь совершенно ни при чем. И наверное, потому, что нам очень повезло и наши мужчины не исчезли в Сребренице города До, нет половины и половины... Есть Нули, которые в приступе социального оптимизма можно считать как ничью или даже как начало времен...

Пока нет половины и половины.

* * *

Она совсем не училась в этом своем ПТУ. Махнула рукой на летнюю сессию: «А, ну их. Пусть выгоняют», – и ринулась в лето, лошадей и молчаливого Сашку,

которого таскала с собой повсюду, уложив в большую спортивную сумку.

Розка сделала в сумке твердое дно и дырки для двух ремней, принадлежавших Халипу. Вадиму. Ее отцу.

Ремни были частью системы воспитания. Они должны были напоминать Розке о том, что отец есть, что он следит и бдит и, в случае чего, может пустить их в дело. Для битого дела негодились ни разу. Зато подошли для Сашу. Для безопасности. Он совсем почти не подавал сигналов бедствия. Он производил много опасной тишины, в которой мог захлебнуться, задохнуться, уползти под копыта, пораниться и потеряться.

«Не спускай с него глаз!» – кричала Розка тете Тамаре. Та мелко кивала и, недовольно вздыхая, брала Сашу на руки. Но на ипподроме всучить Сашу было некому.

Я не знаю, как они там обходись вдвоем, на конюшне. Розка мыла и кормила лошадей. Он лежал в сумке, которую можно было запатентовать как первую аутентичную советскую переноску, в которой солдатский ремень послужил добру, а не злу.

Наверное, она все-таки вынимала Сашу из сумки, наверное, показывала «носик», «ушки» и говорила «иго-го, поет лошадка, спи мышонок, сладко-сладко...»

Саша не агукал, не плакал. Иногда мычал. Мне казалось, что он мычит не горлом, а животом. Я не знала, правильно ли это, и предлагала срочно ехать к «ушнику». Но Розка принимала мычание как успех. Оно была направленным, осознанным, подтвержденным то Сашиним взглядом, то протянутыми к Розке руками. «Ну, прям подарок, да, Аленка?»

Я соглашалась на бегу. Мимоходом. У меня была школа, выпускной класс, репетитор, женихи, подъезд, о котором Розка сказала: «Пока – в полном твоём распоряжении».

Я соглашалась на непереход демаркационной линии, на нейтралитет и всякое невмешательство. Так было удобно. С Сашей ли на руках или без него Розкин мир был отчетливо другим. Непохожим на тот, который казался мне правильным, он был опасным, непонятным, не слишком чистым и слишком

большим.

Я соглашалась, Тетя Тамара негодовала. Она бурчала себе под нос при каждом моем легком и ни к чему не обязывающем «Здравствуйте»: «Какое «здрате»? Одно мордасти. Вытащила ее в город, красавицу мою, Розочку, а она себе на шею ярмо. Мать есть? Есть. Хай мать и возитя. Чегой-то моей Розочке горе? Скажи ей, скажи... Бо ж пустое оно все, чужое. Со своим никому вы не нужные, а с чужими? Я-то Наташке скажу. Я так ей скажу, что эта... А ты Розочке... Пусть отдаст, пока не привыкла. Все равно ж сил на дите не хватит, на меня потом повесят. А мне что? Мне Розочка ж только...»

Здесь вспыхивает Красное платье и улыбается Джоди Фостер.

Сейчас я бы не мучилась, вспоминая, разглядывая и описывая Розку. Я бы сказала, что она похожа на Джоди Фостер. Я бы и ей это хотела сказать. Розка была бы довольна. Мало кому ведомо, какая мисс Фостер в той жизни, которую считает своей. Но на экранную Джоди Розка согласилась бы точно. И красное китайское платье – вышитое цветами и павлинами, резинка на талии, чуть выше колен, воротник-стойка. Мне в нем, наверное, было красиво. Но само платье оказалось несчастливим. В нем у меня не получалось быть самой собой. У меня и у других не получалось, но в этом красном диссонанс был такой ощутимый, что болела кожа. Платье было, а меня совсем нет. Я сгорала от несоответствия своего внутреннего серо-голубого и этого вызывающего, яркого и какого-то окончательно геометрического полотна.

Вещами надо было дорожить. Они трудно доставались, дорого стоили, моя мама сбивалась с ног в поисках спекулянтов с умеренными ценами и коллекцией чего-то девичьего, а не бабского.

Но я отдала его Розке со всей историей. С несчастьем и неудачей. Она обещала его перевоспитать. Мне пришлось поправиться, чтобы объяснить маме, почему я больше никогда не смогу его надеть. Были и другие вещи, тронутые моим малым магическим умишком. Тронутые и отправленные в сторону заколдованных и крайнее невезучих. Розка смеялась. Мама сердилась.

У меня и сейчас есть крайне невезучие вещи, которые я все пытаюсь перевоспитать сама: вывожу в добрые люди, где точно не будет обид, надеваю в необязательные походы – в магазин или вынести мусор, я нежно стираю и чищу

их, пытаюсь понравиться своим незлобивым характером. Но нет. Кожа болит по-прежнему, и несчастливые вещи совершенно не собираются себе изменять.

Последней школьной осенью я почти не видела Розку, зато часто видела Наташу. Раз в неделю или, может быть, в две она приезжала со своей старшей дочерью, громко плакала, скандалила с тетей Тамарой. «Забирай», – кричала тетя Тамара. «Та хай тут поживет, вам хлопцу хлеба жалко? Я вот Розке скажу, какая вы». «Я тебе скажу! Я тебе так скажу, что в тюрьме будешь сидеть».

Тетя Тамара замахивалась на нее метлой или тряпкой, старшая двухгодовалая девочка невозмутимо грызла бублик, а Наташа закрывала лицо руками и начинала рыдать. При появлении Розки все они втроем делали вид, что ничего не было. Наташа послушно изображала хорошую мать для Саши, а тетя Тамара умильно вытирала слезы, комментируя: «Любит мамку сынок, ой любит...»

Мое красное платье Розка подарила Наташе. Перед этим позвонила в дверь, вытащила меня на площадку и глухо спросила: «Не обидишься? Мне надо от нее откупиться... Платьем она точно возьмет».

* * *

Последний раз я видела Розку в очередной снятой квартире.

Это не конец истории. Еще один окольный путь моей узорчатой или дырявой памяти, где нет ничего линейного, где вторая посылка имени Чарлза Пирса довлеет над сюжетом, над механизмом забывания, над принудительным или сознательно выбранным, я не знаю, процессом строительства собственной удобной и полезной слепоты.

Очередная снятая квартира – третья, четвертая или пятая после развода. Очередная квартира, в которую в любой момент могла прийти хозяйка. Прийти, чтобы отменить договор, повисить плату или предложить мне украсить кухню вырезанными из газет снежинками.

Все мои хозяйки были прекрасны, поэтому мне удалось забыть их лица, но не причуды.

Снежинки из газет. Я вырезала их, стараясь, чтобы плешь Михаила Сергеевича Горбачева попала в середину композиции. Они были огромные – во весь разворот. Я прикрепляла их к обоям маленькими швейными булавками. Хозяйка хотела, чтобы снежинки были размером с бабочку. Мы ссорились, и она грозилась, что в следующем месяце я буду жить на улице и умру под забором. Бесплезно было говорить, что я не сирота и что забор в городе До явление скорее уникальное, чем типичное.

Я уменьшала размеры снежинок.

Другая моя хозяйка приходила ко мне «закрывать». Сезон начинался в июне с клубничного варенья. Пенки она считала деликатесом. Делилась ими великодушно. Пенки надо было есть так, чтобы на лице точно фиксировалось и легко считывалось состояние блаженства. Иногда у меня получалось. Но чаще нет. Хозяйка огорчалась. Мое лицо говорило ей о неудаче в варенье и в жизни, это отменяло настоящее и перечеркивало будущее. Хозяйка плакала и называла меня бессовестной садисткой, не способной ради добра и мира на земле надеть дурь на морду. Надеть и поносить. В июне она закрывала вишни и черешни, в июле – сливу и абрикосы, айву и крыжовник, смородину и малину. В августе начиналась солка, в сентябре – закрутки салатов...

А третья хозяйка умерла. Она работала где-то на Севере, но хоронить ее было правильно из родного дома. Нас попросили немедленно покинуть жилье на три дня. Немедленно, потому что «покойница не должна видеть, до какого состояния вы довели ее квартиру. Будем сутки мыть». Вещи забрать не разрешили. Мы обязаны были вернуться после похорон и продолжить там жить. Женщину, которая и после смерти не могла видеть беспорядка, звали Лена. В те безмобильные и безинтернетные времена люди звонили друг другу на домашние телефоны. Домашние телефоны – это такие коробочки с цифрами и крутящимся диском. Или с кнопками. И еще длинный-длинный шнур... Некоторые люди могли выйти с телефоном даже на балкон. Все зависело от длины шнура.

Друзья звонили мне в эти три дня. Тот, кто снимал трубку в траурной квартире, говорил им: «А Лены больше нет. Она умерла. Хоронить будем из дома...» Кто-то из приятелей с перепугу даже пришел меня провожать, но, к счастью, не узнал.

Слезы, пролитые из-за хозяек, потом казались мне пустыми и легкими. Но вот – я снова их жду, живых или мертвых, проходящих в любой момент с криком: «Вещи не брать, уйти немедленно, вопросов не задавать». Они снова говорят: «Нет

ничего твоего. Ешь, пробуй, глотай... Каково на вкус? Ничего твоего». Они совсем не похожи на Микеланджело, обнажившего всех – святых и не очень – на фреске Страшного суда. Мои призрачные хозяйки сделаны по крепким лекалам 1937 года, который мы могли бы давно забыть, если бы помнили.

«Никто не будет варить ширку в доме, где живет Аленка. Ясно? Никто!» – это были последние слова Розки. Последние, сказанные перед тем, как я о ней забыла.

Оказывается, кроме проблемы последнего дня существует и проблема последних слов. Тем более, что они вообще могут не совпадать во времени и пространстве. «Ой, надо же! Год назад мы с Иваном Ивановичем виделись в гостях. И он сказал: “Передайте соль”».

«Передайте соль», «как дела?» «мать твою так...» – Встречаясь с десятками людей, мы каждый день разбрасываем записки со словами, которые однажды будут описаны как наши последние. Хорошо, что все необязательные люди из нашей жизни никогда не соберутся вместе, чтобы сложить прощальное полотно нашего идиотизма. Иначе бедные были бы наши дети...

Розка, Оля и Гера. Гера – девочка и это было ее полным именем. Не знаю, о чем думали ее родители и что читали перед тем, как отправиться в загс, но для дворового слуха имя было невыносимым. Мы называли ее Герасим, а каждого ухажера – из скудоумия и некрепких литературных аллюзий – Муму.

Мы встретились случайно на площадиленина, имя которой всегда проговаривалось в одно слово, что сразу и навеки отрицало возможность существования каких-то иных, без ленина, площадей.

Собирался дождь, в тринадцатом гастрономе был перерыв, я предложила пойти ко мне. Розка кивнула.

Зрачки ее чудесных зеленых глаз были узкими, улыбки – случайными, и вся она олицетворяла тихую радость, что при ее характере и темпераменте была похоже на нездоровье.

«Идем?» – спросила я.

Она покачала головой: «Нет, Алена. Мне к тебе нельзя. У меня СПИД».

«СПИД – не гипс. Ходить-то можно...»

Она улыбнулась и невероятным усилием воли сконцентрировала взгляд сначала на мне, а потом на Оле и Герасиме. Они фыркнули в ответ, синхронно и презрительно. От меня, вероятно, ожидалась истерика с отшатыванием, всплескиванием руками и вызовом «скорой», которая должна была бы всех нас немедленно продезинфицировать. Оля и Гера меня и таких, как я, не любили. Трудно любить другого человека, если его страх считается как брезгливость, а молчание – как высокомерие. Наоборот тоже трудно.

Мы пили чай. Розка сказала, что умирать она не собирается, потому что только развелась и сдает мужу ту же квартиру, что когда-то сдавала мне. Сказала, что я выручила ее сильно. Потому что платьями и свитерами Наташа тогда отказалась, а требовала только денег. «Целых полтора года, прикинь, я вообще ни о чем не думала. Так что спасибо...» – «Это не мне, – сказала я. – Это родителям».

Она кивнула: «Ну да...»

«Обе, значит, вы разведенки», – хмыкнула Гера, чтобы зафиксировать счет наших равных с Розкой неудач.

«Ага», – дружно кивнули мы. А Оля сказала: «Ну, раз все так по-ровному, можно, мы у тебя сварим? Разочек?»

Что должна отвечать хорошая, пусть и разведенная женщина с ребенком и высшим образованием на такой чудовищный вопрос, на вопрос с криминальными последствиями в виде тюрьмы и даже лишения родительских прав?

Почему я не увидела в вопросе ни угрозы, ни провокации, ни издевательства. Только умиротворенную, тихую Розкину улыбку? Почему я не думала о том, что попустительство – это не невмешательство, а прямое участие? Тогда и потом – почему я думала, что отойти в сторону, предоставить кусочек своей территории, поделиться малостью от собственной свободы – это не самоубийство, растянутое во времени, а что-то принципиально другое. Почему я не понимала, что самоисчезновение – это не мое личное дело, а открытка с приглашением – приди

и убей.

Я вообще не думала, что нужно сказать «нет». А отрицанию как возможности я не научилась и до сих пор.

«Хорошо, – кивнула я. – Приходите...»

«Никто не будет варить ширку в доме, где живет Аленка. Ясно? Никто!» – тихо сказала, почти прошипела Розка и посмотрела на меня огорченно: «Ну, разве можно, Аленка? Ну что ж ты делаешь?»

«Солнышко» у меня так и не вышло. Подъем-переворот – хорош и теперь. Но «солнышко», в котором ясность преодоления и всякая молодецкая удаль – нет. Никак.

Вытаскивая Розку на свет Божий, я продолжаю плотно закрывать глаза и уши. «Разве так можно? – были ее последние слова. – Что ж ты делаешь?»

Я отвечаю. Отвечаю только теперь, когда держусь за твою руку, когда ищу тебя, выброшенную к Питеру Пену и его не взрослеющим друзьям на острове Где-то-там, когда улыбаюсь тебе, не похожей ни на кого и даже на Джоди Фостер, когда мысленно открываю дверь нашего подъезда, нашего дома, где мы обе больше не живем.

* * *

Могут ли аквариумные рыбки быть положительными героями какой-нибудь саги о преодолении? Выставленные напоказ, подсвеченные специальной лампой, кормленные специальными порошками по расписанию? Если разбить аквариум, то конечно. Какое-то время рыбки будут пытаться жить в луже воды, оказавшейся рядом. Это будет выглядеть очень героически и безнадежно. А потом придет кормилец, соберет их, едва живых, в полиэтиленовый пакет с водой или в литровую банку. Потом он купит им новый аквариум, и рыбки забудут о том, как чуть не умерли от удивления и от того, что привычная среда обитания куда-то исчезла.

Если сблизать меня и Розку не только лестничной клеткой, то чем-то более рациональным, то мы с ней были рыбками – залюбленными, избалованными, инфантильными девочками, которые, каждая на свой манер, почему-то мечтала о свободе, но покорно возвращались к раздаче кормов, денег и планов на завтра.

В планах тети Тамары для Розки было все, весь мир, но только не Саша. В планах моих родителей тоже было все. Но только не весь мир.

Поколения их старших все время уезжали, бежали, прятались, меняя города, дома и имена. Папины деды, рассыпанные Первой мировой и революцией по Европе, возвращались на красные стройки, чтобы исчезнуть статистами в громких делах врагов народа, погибнуть в гетто или вырваться и раствориться в степи, прикрывшись плохо подделанными паспортами и фамилиями, из которых торчали все Авраамовы колени. Мамины тоже – без точных названий и географических привязок, с обмолвками о торговых домах, булочных, электрических работах в Рижском порту, они выбирали исчезновение в шахтных поселках, рудниковых больницах, они не верили, что оседают надолго, даже здесь, где их никто не искал, а потому не мог найти, они легко поднимались и переезжали из городка в городок, называя это карьерой и большим человеческим ростом.

Мои родители были первыми, кто не бежал. Но страх перед тем миром, который вспыхивал от любой спички кровавыми побоищами, страх не названный, наверное, даже не осознанный, был фундаментом запрета на свободу моего передвижения. Путешествие по снятым квартирам – наша общая с ними сублимация тайного желания сбежать из города До и упасть в объятия большого и небезопасного мира.

«Почему ты не уехала?» – этот вопрос мне потом задавали как комплимент, в котором – признание моей особенности, чужаковости, явного или неявного отличия, способностей, наверное, тоже. «Ну вот теперь ты в Киеве. И здесь столько возможностей. Надо зацепиться. Это шанс».

Шанс, да.

Я не уехала, потому что кто-то должен оставаться. Кто-то обязательно должен оставаться. В прекрасном, мобильном, постоянно движущемся, легко переезжающем с места на место мире кто-то должен оставаться... Чтобы

открыть дверь, полить цветы, вытереть пыль и к праздникам помыть окна. Я не уехала, потому что выполнила план своих родителей. Я согласилась укорениться и назначила аквариум океаном и нашла в нем течения и впадины, населила хищниками и объявила стеклянное дно затонувшей Атлантидой.

А потом, много позже моего согласия, случилась война...

* * *

«А у нас Гена пришел, – сказала мне тетя Тамара. – Из армии. В отпуск».

«А Роза что?»

«А что? Гонит его, паразитка. Ты скажи ей, а?»

Мы открывали двери. Я – свою. Тетя Тамара – свою. Была зима, вечер. Я приехала со сборов по подготовке к республиканской олимпиаде по географии, в которой не собиралась участвовать, потому что предыдущую, областную, выиграла совершенно случайно, в связи с отсутствием достойных конкурентов и самой географии – в числе уроков выпускного класса. Я была победителем, потому что помнила кое-что из прошлого года. Хорошая память – всегда наказание. Поэтому на сборах мы с одним мальчиком усердно изображали из себя двоечников, путающих Тегусигальпу и Антананариву, Гватемалу и Гвинею, муссон и хамсин, овраг и холм. На всякий случай мы сами ставили себе двойки и разрисовывали красным знаком вопроса собственные ответы. Мы готовились к беспроигрышному бегству, и каждый день я придумывала новые варианты нашего общего избавления от грядущих географических побед.

«Розочка, – крикнула тетя Тамара. – Тут Аленочка тебе что-то сказать хочет. Выйди...»

Розка вышла. Тетя Тамара юркнула в квартиру и закрыла за собой дверь.

«Что ты должна мне сказать?»

«Чтобы ты не гнала Гену».

«А я и не гоню, – усмехнулась Розка. – Невеста ему не дает. Бережет целку. Так он вот пошел по старым адресам...»

«Сволочь», – выдохнула я.

«Дурак просто, – не согласилась Розка. – Мать в субботу съедет в село. И все у меня будет».

В моем тогдашнем амплуа самой модной была песня про гордость. Я могла исполнить ее с любыми словами и на любой мотив. Но, глядя на Розку, она вдруг заткнулась. Моя песня. И я вместе с ней.

«При чем тут Гена? Ну? Сама подумай? Мое тело – мое дело. Я хочу и я буду. Беречь-то уже нечего».

Ну нет. Ну не так. Я хотела бы, чтобы блудный Гена раскаялся, чтобы принес себя и свое двухколесное будущее к Розкиным ногам, чтобы она покапризничала немного, но приняла, чтобы он, утирая слезы счастья, поклялся ей в верности и никогда больше не нарушил данного слова. Тетя Тамара ждала, наверное, примерно того же, что и я.

Но у Розки был варган. Хор сирен и тело, которое было назначено единственным источником свободы.

Если отдаляться от нашей лестничной площадки на приличное расстояние, то мы не были аквариумными рыбками. Скорее тараканами, выжившими после катастрофы. Дети, родившимися в бараке, но не имевшими об этом никакого понятия. Мир, явленный нам с голоса угасающего колонизатора-оккупанта-диктатора, казался единственно возможным. Все эти кровати, хрустальные вазы, клятвы юных пионеров, буржуазные фальсификаторы истории, враги, линейки и успехи мелиорации не виделись как колючая проволока и даже как забор.

Мы не приближались к границам дозволенного, а просто хаотично перемещались внутри ограниченного помещения, но Розка вдруг обнаружила в нем Сашу, Гену и собственное тело, которое не могло принадлежать никому, кроме нее.

Гена писал ей письма из армии. Отвечала ли она, я не знаю. Лучше бы нет. Вернувшись, Гена женился на своей целке, выполнил кандидата в мастера, вошел в сборную области по мотокроссу, выиграл пару кубковых соревнований. Мог бы и больше, но периодически запивал. В запоях или в выходах из них являлся под наши окна, садился на скамейку и думал о чем-то своем, не решаясь ни стучать, ни ломиться, ни вызывать Розку на последний самый важный разговор. Если он задерживался до утра, тетя Тамара выносила чего-нибудь «от головы» – рассол, квашеную капустку, аспирин или сразу – похмелиться. Иногда тетя Тамара и Гена выпивали на скамейке вместе. По чуть-чуть. Но этого хватало, чтобы начать трудный разговор о Розке, таскающей Сашу по врачам, вдруг влюбившейся в футбол, живущей на конюшне, не желающей учиться и постоянно убегающей в село, которое обозначалось на карте как поселок городского типа. О непослушной Розке, о драгоценной Розке, о самой любимой Розке, ради которой они оба готовы были отдать жизнь. Но не развестись.

А Розка смеялась и иногда пользовалась его выходом из запоя, раскаянием и мотоциклом. Гена возил их с Сашей в Новотроицкое и привозил обратно. А там – копал картошку, чинил крышу, белил стены, помогал собирать яблоки и даже варил варенье, но с большей охотой – самогон.

Самогоном тетя Тамара приторговывала на конечной пяти троллейбусов, разливая его всем желающим из трехлитрового бутыля. Участковому, Розке и Гене она отдавала небольшой процент.

* * *

Война – это не только о победе. Это еще и о возможности выбрать себе смерть. Жизнь, в общем-то, тоже об этом. Но в жизни эту тему можно пропустить: сачкануть, сбежать, научиться уворачиваться от накатывающей дребезжащей тревоги. Отложить, в конце концов. Договориться с «темой» по-хорошему и попробовать не думать.

У войны меньше времени, но больше определенности. Когда страх бомбежек становится усталостью – ноющей, не острой, но такой, что плечи уже не расправишь – убежища и подвалы не спасают. Механическое сохранение тела под землей или между толстых несущих стен только добавляет отчаяния. Кажется, что это не закончится никогда. И смысл всего дальнейшего будет определяться только близостью укрытия. И к этому нет ни терпения, ни

смирения. Минометная эвтаназия видится как выход. Нет, никакого «на миру и смерть красна». Хотя, конечно, она – красна. Еще как красна.

Просто хочется больше не бегать, не хватать «тревожный рюкзак» с водой, лекарствами, теплыми вещами, памперсами для взрослых... Хочется замереть, поднять голову к небу и получить свой заслуженный кусок металла, который просвистит утешительное «ну вот и все...»

Хотя не все. У войны – огромный выбор разных вариантов – роскошных, не бессмысленных, героических, сильных. Но других, идиотских, пустых, тоже полно.

Розкина жизнь стала войной, когда тетя Тамара решила, что Гена – взят, что с Розкой у него почти семья, что не разводится он со своей кралей только из-за мало?го, потому что тот инвалид, а кому охота крест на шее всю жизнь тащить? «Хай мать тащит. Сама нагуляла, хай сама и думает, куда его сдать...»

Возможно, Гена говорил это тете Тамаре, но, может быть, она придумывала все сама, потому что так было принято: придумать жизнь для детей и строго следить, чтобы ни шагу назад. Наши родители ничего не знали о заградотрядах, но вот поди ж ты... Обходились без знания, по наитию. Так как, скорее всего, обойдемся со своими детьми и мы.

Тут затык. Мне надо объяснить Розке, что в момент начала ее войны я уже все понимала. Мне надо написать о своей девочке, которую я не могу назвать дочерью или дочкой, потому что мне не нравятся эти слова. Я слышу в них что-то про пещеры, ящеров, динозавров, квочек, что-то невыносимо искусственное, отчужденное, вынесенное на расстояние вытянутой руки – как на уроке физкультуры. По имени – тоже не могу. Не хочу перебирать ворох защитных прозвищ, каждое из которых имело тайное значение и уходило с ее взрослением или оставалось для нежного возвращения в беспомощность, нашу общую зависимость, соединенность.

В первую ночь после роддома я сидела возле манежа и слушала, дышит ли она. И во вторую тоже, и в третью. Я с большим трудом научилась жить, не прислушиваясь к ее сопению. С большим трудом и очень не быстро. И не научилась. С мальчиком, рожденным много позже, случилось то же самое. С тех пор я дышу с переборами – от носа к носу, от звонка до звонка, от щеки до щеки.

Когда я была глупой – школьницей, грезящей о золотой медали, – Саша на руках у Розки казался мне фигурой запечатленного подвига, самоотверженного служения. А иногда символом протеста, брошенного в лицо тете Тамаре, мне и подлому Гене. А еще – в минуты мерзости – заместительной терапией для брошенной и обреченной на безмужнюю, а значит, бездетную жизнь женщины-Розки. Эти огромные обломки глупости собирать сейчас стыдно. Но как мне было знать, что воздух, выдуваемый из двух малюсеньких ноздрей, может быть единственным источником моего собственного дыхания?

У любви нет причин и мотивов. Только время и человек.

Саша был Розкиной любовью. Я не знаю, как у них это получилось и чего это ей стоило, но он читал по ее губам и безошибочно делал все, о чем она просила. Впрочем, даже если Розка молчала, он угадывал все равно. Говорить не мог, не хотел. Розка говорила, что еще маленький и стесняется. Но руками – сложной грамоте неслышащих – учился с удовольствием. Играл. И Розка училась, играя вместе с ним. Большая коммуна слабослышащих жила в районе Северного автовокзала. Там был завод, детский сад, клуб и множество людей, научившихся жить абсолютно без претензий к миру. Туда переехали мои первые соседи, а потом подтянулась и Роза, чтобы гулять с Сашей и учиться тому, что нигде особо не преподавали. В этом прозрачном, пасторальном воспоминании есть еще одна правда: глухие продавали наркотики. Глухие с Северного и еще цыгане со «Стройдетали». И те и другие дорого брали за свою невидимость, исключенность из победительного мотива о здоровом красивом советском русском интернационализме...

Временами набегала Наташа с тремя или уже четырьмя новыми детьми. Требовала или денег, или «вернуть ребенка». Если денег не было, Розка ехала с Сашей в Новотроицкое, возвращалась одна, бросалась в приключения, добывая выкуп продажей крашенных колготок, унылой и медленной торговлей самогоном, чем-то еще, о чем она не хотела рассказывать.

Наши судьбы не были связаны, мы с Розкой были идеальными соседями, которые время от времени обмениваются солью, деньгами и новостями. Соседями, которые пересекаются пунктирно, а потому не претендуют на заполнение пропущенных тем и сюжетов. При случае, мы обходились короткими пересказами, но чаще длинными умолчаниями, в которых все и так было понятно.

Всякие строгие режимы уязвимы своей повторяемостью, строгим расписанием, правилами, которые должны быть исполнены кровь из носа. Режим как поезд. Под его четкость и исполняемость легко подложить бомбу. В то лето я ненадолго вернулась в отчий дом. Наши с Розкой младенцы вместе играли во дворе в обязательное к прогулке нежаркое утреннее время. Моя, освоившая уже не только слова, но и маленькие предложения, болтала с Сашей без умолку. Он снисходительно кивал, насыпал песок для изготовления «сыни» – сырника, подавал ведро, рвал для нее листочки с последнего куста смородины, зажатого теперь между строящимися гаражами. Она поправляла ему кепку и временами обнимала. Иногда они ссорились. Моя демонстративно уходила к горке и ждала, чтобы Саша пришел извиняться. И он приходил.

Сюда, в эту картину, хорошо ложится фраза «на небе ни облачка» или что-нибудь про птичек, что-то пасторальное, банальное, относимое к разряду пошлых штампов. Штампов, которыми все без исключения спасаются или пытаются спастись в минуты, когда рушится мир, но признать это не хватает сил. Или наоборот, когда птички, небо, деревья становятся последней и единственной защитой, обещающей неокончателность катастрофы, хрупкую поправимость вдруг исчезнувшей привычной жизни. В дневниках оккупации Второй мировой люди постоянно писали о погоде. Каждый день – о ветре, снеге, температуре, тучах и облаках, о дожде среди дня, о его окончании. Врачи, крестьяне, писатели, артисты, шахтеры, парижские шансонье и амстердамские рыбаки – о погоде. О расстрелах, о голоде, о предательстве, о страхе, о гетто, об отчаянии. И о погоде.

«Солнце взошло в пять утра. Был ветер. Днем прекратился». Погода – это Экклезиаст, перетолкованный, переведенный на язык еще одного последнего дня, после которого может наступить еще один – последний. А потом еще и еще.

Тетя Тамара, Наташа, ее дети – все они появились во дворе внезапно, нервно, шумно и как-то постановочно. Наш материнский режим – кормить, гулять, спать – по расписанию, был ловушкой, точкой уязвимости, нашим подготовленным «располохом», из которого некуда было бежать. Некуда и, казалось, что незачем. Наташа изображала слезы, и дальнейший сценарий был всем понятен. Я подумала, что у меня есть деньги. «Если что, у меня есть». – «У меня у самой сейчас есть», – усмехнулась Розка.

«Конец истории, – торжественно провозгласила тетя Тамара. – Все. Положим этому безобразию край! Хватит с меня. Мать мучается, дитя страдает, и ты,

Розочка, страдаешь... И его тягать туда-сюда хватит. Нашли себе игрушку. Станьте рядом, пусть он выберет. И на том – точка».

Розка не шелохнулась.

«Наташа, подойди к ней. Рядышком, чтобы вы обе мне были видны, – скомандовала тетя Тамара, будто пытаюсь нас всех сфотографировать. – Зовите его. Приманивайте. К кому пойдет, тому и достанется».

Я понятия не имела, что в нашем дворе ставят Бертольда Брехта. Я вообще тогда не знала о нем. И о Соломоновых притчах не знала тоже.

«Сынок, сынок, – надрывно голосила Наташа. – Сыночек мой...»

Саша не слышал слов, обращенных в спину, потому что не видел ни губ говорящего, ни его рук. Они с моей увлеченно делали подкоп под песочницу. Ну, под то, что осталось от песочницы. Тетя Тамара подошла, взяла Сашу за плечи и развернула лицом к зрительному залу.

«Сынок, – выла Наташа, протягивая руки. – Сыночек...»

Он увидел ее и просиял. Не побежал, но пошел, улыбаясь, в раскрытые объятия. Нещедрый совсем на мимику, предпочитающий не напрягать себя словами и звуками, он просиял и замычал.

Много раз я хотела сказать Розке это «замычал». Это подлое, неправдивое, унижительное «замычал». Я хотела сказать это в утешение, чтобы обесценить, обесмыслить эту гадкую картину, созданную тетей Тамарой из любви. Из любви, конечно.

Но в правде, которая не часто может быть утешением, было по-другому. Саша сказал: «мама», потом еще раз и еще. Не звонко, не так красиво, как говорят артисты. В нос, с тяжелым напряжением связок. Четырехлетний Саша принес свое первое слово в правильный адрес. Он обнял Наташу за ногу и спрятал лицо в складках ее юбки.

«Это про другое, Розка, это про другое...» – прошептала я. Она так и не пошевелилась. Наташа и тетя Тамара смотрели на нас торжественно.

На небе ни облачка. Птички. Жара. Солнце в зените. И оглушительная тишина, которая, я теперь знаю, бывает только после бомбежек.

Невыносимая, лживая, не облегчительная, застывшая тишина, которая разливается повсюду в краткий миг между смертью и ее осознанием.

* * *

Розка вышла замуж через два месяца, в середине сентября. Могла бы и раньше, но в загсах, которые отделяли женатых от холостых, в те времена было принято давать время на раздумье. На проверку твердости желания стать семьей отводили не меньше тридцати дней. В случае осенних очередей – даже больше.

Платье с пышной юбкой, длинное, как у принцессы. Мое, узкое, по фигуре, купленное раз надеванным и проданное надеванным дважды, Розка, рассматривая свадебные фотографии, сочла унылым и слишком простым.

Уже была «Бурда» и каталоги «Отто», но за ними нужно было занимать очередь, ждать. Розка спешила, а потому искала фасон платья в иллюстрированных книжках сказок. У меня было много, и чешские народные нравились ей больше всего. «Златовласка», да.

Ткань, тесьма, крючки вместо «молнии», обшитые пуговицы, но лучше кнопки, невидимые и спрятанные в швах, длинные перчатки, фата, хотя в те годы модными считались венки-горшочки... Белые туфли, купленные в магазине «Счастье», где все покупатели были женихами и невестами и обслуживались по специальным талонам, заверенным в загсе. Белый гэдээровский лифчик, белые колготки, которые казались мне излишеством, но Розка их хотела.

Мы говорили только об этом. О белом, кружевном, атласном, струящемся, о белом сатиновом и капроновом, о белом тюлевом, вышитом, кожаном... О белом в живых цветах, мужских рубашках, автомобилях «Жигули» и «Волга». О белой «чайке» – мечте брачующихся. О белых простынях, наволочках и пододеяльниках, тарелках, чашках, скатертях...

Оккупированный Россией город До каждый день сообщает о своей чистоте. Навязчивая эстетика убранных улиц, фотографии хорошо работающих дворников и поливальных машин, картинки высаженных на клумбы цветов, отчеты о вывозе мусора. Каждый день город До кричит о том, что он самый чистый, стерильно чистый, невероятно чистый. Несравнимый и несравнимаемый своей чистотой с другими городами.

Отмытый до сдирания кожи, подметенный до пустоты, отстиранный до кровавой раны, из которой проглядывает кость.

Белая...

Розку нужно было взять за руку и отвести к врачу. Или к священнику, но, кажется, она была бытовой атеисткой. Нужно было отвести к тому, кому она могла бы поверить. И чтобы тот сказал: «Нет грязи. После изнасилования можно жить. Опыт показывает – можно жить. Можно попробовать забыть, можно, напротив, не забыть, а сосредоточиться на мести. Ничего хорошего в мести нет, но как этап – пусть будет. Не надо белого, ты – чистая. И это всем видно. Не надо столько белого тому, кто сам по себе – свет...»

Я не сделала этого.

А теперь сама бегаю за ней по большущим ангарах, где лежит конфискованная память, бегаю, прошу взять меня за руку и отвести к врачу. Вместе с городом До, охрипшим от сигналов бедствия, подаваемых причудливым шифром – конвульсиями чистоты.

Как звали Розкиного мужа, я не помню. Не знаю. И она сама, думаю, не придавала его имени особого значения. Может быть, он был в нее влюблен. Может быть, просто очарован.

Я видела свадебную процессию из окна. Жених был похож на камыш. А Розка – на куколку. Вместе они были не семьей, а икебаной, созданной для красоты и спокойствия. В свадебное путешествие Розка с мужем поехали в Новотроицкое. Когда пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, останется только Новотроицкое. Потому что оно не перестает. Кажется так, да, Розка?

А мотоцикл случился на нашей улице в начале октября. Старый фокус – рычащий проезд на одном колесе – не сработал. Розка с мужем переехала в ту квартиру, которую я зачем-то населила страхами, тараканами и невозможностью жить.

Он нашел ее, конечно. Или она сама отыскалась. Моя мама говорила, что браки совершаются на небесах. Но в загс пойти нужно. Тетя Тамара же доверяла только загсам. «Скажи Розке, как увидишь, что она поблядушка. Скажи, чтоб с мужем жила, а то будет потом, как ты – брошенкой. Стыд и срам... Стыд и срам... А Генка – упырь – не женится на ней никогда. Вот так и передай».

Тетя Тамара была маленькой, невысокой. Она ругала меня, глядя снизу вверх. Выходило несерьезно и неловко. Я не могла ей забыть Бертольда Брехта, но и сказать, что она – сама виновата, не могла тоже.

Мне хотелось ее обнять. Но я не умела.

* * *

Ямочка на щеке уже старше нас с Розкой, видевшихся в последний раз. Чуть-чуть старше. Вчера мы говорили с ней о море, которое я не люблю, а она терпит. О том, как мы плавали с ней, совсем маленькой, «на глубине».

«Я все время думаю: почему ты не боялась и почему я не боялась? Целый час плыть... Даже больше».

«Ты не помнишь, – сказала я. – Мы сначала научились. «Возьми меня за плечо, если удобно – за два, хочешь, обними за талию или за шею, только не задуши. И если ты не сможешь плыть, то я тебя дотащу сама». Мы научились, помнишь? Останавливаться, лежать на воде, держаться за меня, как за буюк...»

«Точно. Было», – я услышала, как она улыбнулась в трубку. А потом – без улыбки: «Я помню. Плыть было совсем не страшно. Страшно было думать о том, что ты как Саша из «Востока-Запада»...

«Бодров?»

«Тот, который сгинул на съемках. Да, Бодров. «Брата» ему не прощу. Но в том фильме он был никакой-хороший, все время тренировался, готовился сбежать. Я все время боялась, что, проплывая свои километры, ты готовишься сбежать...»

«Нет. Я худела. Физические упражнения. Калории. А из плохого... Я просто думала о том, что человек должен уметь доплыть до берега. Где бы его не выбросило, суметь доплыть до берега. Знать, что он сможет. Ну, то есть я. Я смогу...»

«Значит, я была права. Все-таки сбежать».

Сгинуть – плохое хорошее слово. Сгинуть – это не дать увидеть себя мертвым. Не числиться, не считаться, не участвовать. Кануть. Раствориться во взаимном неинтересе. Или, напротив, стать чашкой Петри для глупых, микроскопических надежд.

Откуда я знаю, что Розка умерла? От мамы...

Почему-то мимоходом, мельком, скороговоркой мама сказала, что соседи продали квартиру, что тети Тамары больше нет и нет больше Розки, что, кажется, она, Розка, где-то там умерла, но, может быть, и нет и это просто слухи, потому что Тамара иногда приезжает на конечную остановку троллейбусов и торгует мелкой редиской, солеными огурцами и синей травой, которую называет реганом. Но спросить у нее про Розку невозможно, потому что – как спросить?

Я бывала у родителей редко, потому что у меня случился первый собственный дом. Двухкомнатная квартира на легендарном Северном, который, по всему выходило, притягивал нашу лестничную площадку в порядке очереди, и магические правила этой очереди были известны ему одному. Я была влюблена в стены, во входную дверь, в звонок, напевавший «нич яка мисячна зоряна ясная». Я вращала в кухню, кастрюли, рецепты и ткань для занавесок. Я обнаруживала в себе корень, протискивающийся через бетонные плиты девяти этажей и уходящий в землю моих испуганных предков. Я точно не хотела бежать. Все, что было вне, что было вчера и завтра, все, что могло отвлечь или искушать, считалось теперь несущественным. Я сгинула для всего этого. Исчезла, испарилась, перестала отражаться.

Параллельные миры – это не так сложно, если не разбираться. Если не разбираться, то, разжимая руки или объятия, мы не падаем каждый в свою пропасть, мы просто разлетаемся – легко или тяжело, а место расставания становится невидимой границей, отделяющей иное время и иное пространство. В этих иных мирах мы живы и пьем сидро, слушая рык одинокого мотоциклиста.

Собирая Розку с момента ее вторжения в мою, ощущаемую абсолютно чужой, жизнь, я достаю детские сказки и юношеские романтические рисунки. Я достаю турник, скакалку, мяч, качели. Другие объяснения мне не подходят. Я называю глухого героя из поселка Н. Сашей, наделяю его Генкиным мотоциклом, потому что никто другой, кроме Генки, не стал бы возиться с мычащим цыганистым парнем, нагулянным многодетной мамкой неизвестно от кого. Я соединяю их в семью, созданную то ли силой, то ли памятью о моей Розе. Моей птице, способной летать без крыльев... Я называю Сашу и Гену ее любовью. Ее единственной, потом что теперь эти мужики – одно, любовью, которая казалась всем, и мне в том числе, бессмысленной, пустой и никого не спасающей... Но вот теперь... Теперь.

Я зажмуриваюсь и додумываю Розкино появление до конца. Я говорю спасибо городу До, который милосерден ко мне. Он ни разу мне не приснился – ни улицами, ни цветами, ни автобусной остановкой, ни стенами, которые я так люблю.

Он являлся ко мне только картинками в лентах социальных сетей. Искусственными поделками оккупационного треша, готового за небольшие деньги назваться «республикой», «русской землей», «будущим человечества». Металлический привкус оружия, суррогат, синтетические лица и голоса, кричащие с постановочным надрывом.

Мой настоящий город До молчит и не приходит. Ни в себя, ни ко мне. Нам нельзя сейчас ни объятий, ни прикосновений, иначе кто растащит нас, оторвет друг от друга? Иногда мне кажется, что Мы не можем обняться, потому что нас – нет. Но невидимая граница наших параллельных миров пока еще стеклянная. Я бьюсь об нее, еще хрупкую и незакаленную, страшной, ночной и темной мыслью, которую при свете дня не подпускаю к себе близко. Окровавленная, рвущая кишки мысль о том, что он может не цокнуть, надолго или навсегда оставшись замороженным, ушедшим в глубокую кому, провалившимся в дыру между мирами первым слогом До.

И в крайней точке, где еще возможно думать, но невозможно дышать, я понимаю, что вернусь. Скоро. Когда сбудется хорошее,жданное. Но если нет, если не суждено быть свету, а суждено только долгой неживой зловонной тьме, то вернусь все равно.

Кажется, так. Да, Роза?

Только я не знаю, и ты не знаешь тоже, что на самом деле означает это «вернусь».

Доплыть до берега или все-таки сбежать?

Ключи

- На длинный разговор времени нет. Поэтому коротко и ясно и желательно по пунктам: зачем?

- Ты, царица, велишь обновить несказанное горе...

- С утра я был мальчиком, если что. Немолодым, конечно. Но точно не царицей. И давай по делу, друже, по делу и без стихов. Начни как-то по-простому: «Я здесь потому-то и потому-то». А я пока бумаги твои посмотрю.

- Я здесь, - послушно сказал Андреев. - Я здесь, потому что у фрау Элизабет были длинные ноги.

* * *

У фрау Элизабет были длинные ноги. Длинные, худые, ровные, невероятной красоты. Невозможные для ее возраста. Возраста, да. Андреев уставился в эти ноги, удивился и не смог найти для нее слово. Не старуха и точно не бабушка. Леди? Пани? Может быть, дама? Дама в темно-фиолетовых брюках, светлых маленьких туфлях без каблучков, которые теперь было принято называть балетками?

Уставший не так от перелета, как от раннего подъема, дорожной суеты, тревоги только случайно не разоблаченного, но потенциально опасного преступника, которую он ощущал всякий раз перед пограничным контролем, Андреев вцепился в поиски слова для хозяйки, что сдавала ему квартиру так, будто от этого зависело что-то очень важное, фундаментальное, что-то такое, без чего невозможно движение вперед.

В поиски слова и в ноги, от которых не было сил оторваться. Немое восхищение как способ проживания радости казался Андрееву единственно приемлемым. Немое восхищение, немое порицание, немой смех. В детстве Андреев заикался, завидуя всем, кто был способен на быстрое слово. Внутренне он тоже был быстрым, может быть, самым быстрым во дворе, в школе, в семье. Но этого не было видно. Слышно, если точнее. Практика внутренних диалогов, создаваемых вдогонку друзьям и обидчикам, пригодилась для взрослой жизни. Он выбрал профессию, которую настоящие мужчины презирали, считая вялой и немужской. Теперь Андреев был готов с ними согласиться.

Угроза или, скорее, известие о том, что университет не продлит контракт, и приглашение на стажировку в Вену пришли одновременно и очень удивили, складываясь то ли в закон отрицания отрицания, то ли в правила умножения на ноль. Только трудно было понять, что именно умножалось на ноль: заявление безумной бабы-проректора о том, что философия устарела и будет ликвидирована как кафедра и как предмет, или анонс его лекции в австрийском институте гуманитарных наук.

Андреев тренированно улыбнулся и пожал руку, протянутую фрау Элизабет. Он хотел как можно быстрее пройти путь от nice to meet you до see you later, а потому демонстрировал полное удовольствие жильем, которое она передавала ему для жизни на этот месяц, и ничуть не лукавил. Впервые в жизни он хотел как можно скорее остаться наедине с чужим домом. Впервые в жизни он чувствовал, что не будет ни раздражаться, ни мучиться, ни ждать, когда это все закончится. Дом как будто позвал его, пригласил, сдержанно выглядывая из-за зеленой металлической ограды застекленной террасой, окнами в полтора человеческих роста, всеми тремя своими этажами, построенными в начале двадцатого века, чтобы пережить две бесславные войны и всех своих многочисленных хозяев и постояльцев.

– Ваша квартира на первом этаже. Вот ключи, вот ваши двери, – сказала фрау Элизабет.

Ее глаза, до взгляда в которые, пусть нехотя и не быстро, добрался Андреев, были списаны с фаюмского портрета, хранимого в Лувре. Не школярское копирование, а авторская вариация, игра с цветом и формой. Андрееву всегда казалось, что серое, зеленое, голубое проигрывает в глубине и наполненности темному – коричневому, черному, вишневому. Проигрывает в манкости, в значимости, а к старости еще и выцветает в тон осеннего неба. Но вот нет: внутри ее серо-зеленого взгляда было и вишневое варенье, съеденное без разрешения прямо из банки, и разлитое страхом ночное море, и потертый атлас лацканов отцовского смокинга, и вороной жеребец по имени...

Андреев не знал, как в Австрии называют коней, но был уверен, что у отца фрау Элизабет точно был смокинг. И может быть, даже фрак. Это всегда видно. Раньше Андреев яростно обижался ясности, с которой являет себя порода: было неприятно думать, что, сколько бы не тужился, не подпрыгивал, не вязал галстуки, выбирал цвета и шарфы, сколько бы не ровнял спину и речь, отражаться в чужих глазах будут дедовы галоши и материны бигуди. Теперь успокоился, потому что привык и потому что стал находить в этих бигудиных галошах что-то нужное, что-то устойчивое и уж точно – не стыдное и очень витальное. В конечном итоге, в нормальном ходе времени, «фраки» беднеют, нищают и сдают квартиры «галошам». Хотя бывает и наоборот.

– Мне очень нравится квартира. Спасибо.

– Если хотите, я покажу вам ближайший супермаркет и остановку метро. И...

– Дождь, – сказал Андреев. – Не стоит беспокоиться.

Английский Андреева был скудным и роскошным одновременно. Советская школа в свое время на «отлично» научила его языку, которым ни при каких обстоятельствах нельзя воспользоваться. Так причудливо были проложены кабели и подведены провода этих давешних уроков английского, что словарь как будто был, оседал где-то темой «почта», «рабочий класс Великобритании», «продукты». Но продуктам не хватало кастрюль и сковородок, почте – просьбы послать заказное письмо с курьерской доставкой, а одежде – воротников, рукавов, ремней и элементарных, но стыдных советской школе трусов.

Другой язык, на котором он много читал, был классическим, а потому немного мертвым языком философии, который и в переводе и в оригинале звучал как серия обидных, высокомерных дразнилок для любого рабочего класса – хоть Великобритании, хоть Украины.

В ситуации «между» Андрееву всегда не хватало обычных слов, составляющих обязательное ни к чему не обязывающее журчание кофе-брейков, походов в супермаркет, разговоров о погоде, детях, кино, глупостях правительств и планах на уик-энды, лето и следующие встречи. Он старательно избегал неформальных встреч и непринужденных бесед, потому что знал: несовершенная речь воспринимается как несовершенной ум. Ему совсем не хотелось выглядеть дураком. Конечно, между школой и теперь язык можно было доучить, исправить. Но у Андреева не было ответа на вопрос: зачем?

Непринужденные беседы были ему неинтересны и даже неприятны вне зависимости от языка.

– Я хотел спросить, можно ли...

– Дом расскажет вам все сам, – улыбнулась фрау Элизабет. – Вы же исследователь? Вы не будете скучать, я обещаю. Если вы смелый исследователь, то я могу предложить вам сделку.

Она сказала bargain. Андреев запоминал это слово вместе со «взяткой», «воровством» и разбоем. Хороших ассоциаций не получалось. А получалась сказка про Ивасика-Телесика, Синюю Бороду и парочка фильмов-ужасов, которые Андреев с недавних пор смотрел в качестве комедий.

– Если вы сможете все понять, вы расскажете мне обо мне, – продолжила фрау Элизабет.

– А если нет, то вы посадите меня на лопату и отправите в печь? – В его английском варианте это прозвучало так: and if no you will put me on the shovel and send in the oven. И Андреев сначала мучительно искал слова и тяжело, как из бетонных блоков, строил фразу, а потом – в ее легком неосуждающем молчании – думал о том, насколько понятным и насколько людоедским услышалось ему то, что он сказал.

– А если нет, то зачем тогда ваша наука? – спросила она с вызовом.

– Это называется не сделка, – усмехнулся Андреев. – Это называется брать «на слабо».

* * *

Дом разрешил Андрееву курить. В большой комнате, которая когда-то была своему хозяину и кабинетом, и гостиной, Андреев нашел телевизор, запертый в деревянную тумбу, и спички. Длинные сигарные спички – зеленые, синие, розовые, желтые. Сумасшедшие сигарные спички для того, кто уже успел накуриться. На коробке была нарисована картина: дети лежали на пригорке и смотрели на лужок, на других детей, которые собирались подниматься, но почему-то остановились, решив, кажется, получше рассмотреть друг друга. Линии пригорка напоминали женскую спину, а переход возвышенности в лужок – обнаженное бедро. Без очков Андреев принял эту картину за подражание Климту. А в очках увидел, что рисунок на коробке со спичками не был типографским.

Название длинного низкого шкафа, на котором лежали спички, Андреев не знал. Гугл предложил именовать это греденцией, и Андреев согласился: претензия была уместна. Сверху на греденции были маленькие фарфоровые пепельницы, два подсвечника с красными свечами, два тяжелых, вероятно, бронзовых колокольчика, фотография очень старой женщины, на коленях которой сидел младенец.

Курить при младенце Андреев не стал. Хотя мужчины с портретов, висевших на стене, кажется, не возражали. В кухне, маленькой, белой, холодной, безликой, устрашающе функциональной, Андреев нашел еще одну пепельницу. Плохо вымытая в углах, она точно была не декоративной.

Погружение в пепельницы означало, что Андреев принял вызов фрау Элизабет. Он согласился стать разбирателем завалов чужой жизни, аккуратно разложенной по ящикам и выставленной напоказ потертостью ковра, ветхой обивкой кресла, стоящего у окна. И портретами, к которым уже складывался особый разговор и особые вопросы.

А в институте Андрееву выделили кабинет – комнату на пятом этаже – и накормили обедом на общей кухне-столовой, которая, по задумке создателей, должна была стать местом научной и человеческой коммуникации.

Коммуникации получилась сразу. Молодая немка по имени Марта сказала, что исследует биографии политиков, которые стали позором своей страны. Турецкий писатель Джемаль обещал закончить здесь книгу, в которой будут объединены молодой Гитлер, изгнанный из СССР Троцкий и пятый этаж квартиры на Россау Ланде, в которой жила девушка Гюзель, искавшая идею свободы среди блюд шведского стола, в меню которого был только фашизм, нацизм и коммунизм. «Она потом должна будет вернуться к исламу», – объявил Джемаль и ушел.

– Как интересно, – сказал Андреев Марте, которая проводила Джемалья печальным и немного обиженным взглядом.

– Вы откуда? – спросила она.

– Из Украины.

– О! – обрадовалась Марта. – Моя бабушка была в Киеве во время войны. Она работала телеграфисткой. Ей очень понравился город.

– Мой дед во время войны был в Кенигсберге. Он работал пулеметчиком. Ему очень понравился город. Правда, он вспоминал об этом путешествии не часто.

– Я вас обидела? – встрепелась Марта. – Она была очень молодой, моя бабушка, ей было семнадцать лет, и она многого не понимала.

– Нет, правда нет, – покачал головой Андреев.

Война заканчивается не тогда, когда умирает последний солдат. Война заканчивается тогда, когда начинается следующая. У союзников не принято спрашивать, что они делали в прошлом веке.

* * *

На окнах дома Элизабет были ставни. Никаких занавесок, штор, жалюзи, ничего такого, что прятало бы дом от солнца и постороннего уличного глаза.

Когда отец ушел от матери, родственники заставили ее поставить на окна ставни: «Первый этаж, а ну как дурак всякий полезет?» Шестилетний Андреев живо представил себе картину: вор лезет в окна, сначала бьет стекло, потом – топором – рубит деревяшки ставен, и наконец уставший спрыгивает с высокого подоконника и просит водички.

Мать попыталась воспользоваться ставнями один раз. Уезжая с Андреевым в отпуск, она закрыла ими окна, застегнув на специальный замок. Родственники не одобрили. Сказали, что теперь всякий вор будет знать, что их нет дома. Всякому проходимцу это будет видно. Мать согласилась.

Ставни были забыты и спрятаны под шторами, которые тогда назывались портьерами. Онигодились Андрееву, когда он совсем уже вырос. Когда случилась Марина большая, а потом – не без ставен – Марина маленькая. Деревяшки на окнах хорошо делали «вечер», «ночь», «темно» и «время сна». Не так давно ставни были побеждены пластиковыми окнами. Когда их вырывали из оконного откоса, Андреев ощутил глухую тоску.

Портретов, что висели над греденцией, было семь. Один женский, шесть мужских. Или так: три детских, четыре взрослых. Четыре взрослых мужчины смотрели на Андреева из прошлого, а может быть, даже позапрошлого века. Двое лысых, крупных, в темных костюмах были нарисованы маслом. И было видно, что им обоим не нравилось позировать, они мучились, сердились и лысины их становились мокрыми. Двое других были маленькими, артистичными, карандашными, а может, чернильными. Скорее франтами, чем фабрикантами, но франтами, ушедшими раньше, чем те двое, что были так довольны своими удобными креслами и шитыми на заказ пиджаками. В этих двух маленьких не было ничего от нынешней жизни, от денег, от могущества. Один «маленький» был стариком с огромной, торчащей в разные стороны бородой. Другой «маленький», наверное, даже не заметил, что его рисовали...

«Маленькие» были такими, каким мог быть в позапрошлом веке Андреев, мечтавший к старости обзавестись дурной бородой и разрешенной синильной неприкаянностью. «Большие» должны были бы вызывать классовую ненависть, но этот период – период острой зависти к богатству, к деньгами не быстрым, в их широтах невиданным, переданным по наследству, – прошел. Прошел как-то

сам по себе, не через пошлое «не жили богато, нечего и начинать», а через согласие на то место и то время, которое выделили лично ему, Андрееву. На сапоги, в общем, которые он сам должен был сносить.

Два детских портрета были карандашными. Мальчик и девочка. 1952. Девочка, девушка – Элизабет. Короткая стрижка, пробор на левую сторону, маленькая заколка, придерживающая челку, кусочек рубашки, застегнутой наглухо у самого подбородка. Лет шестнадцать? Пятнадцать? Впервые разбитое сердце и много грусти в светлых глазах с отчетливо темным оттенком. А мальчик как мальчик. Распахнутый, застигнутый врасплох, принужденный сидеть тогда, когда нужно играть в футбол или ехать на велосипеде... Очень похожий на Элизабет, но уверенный в себе, веселый. Наверное, близнец и точно – Наследник.

Третий был младше, но старше. Нарисованный в 1938-м акварелью десятилетний пацан. Голубая рубашка, черные подтяжки, нахальный наклон головы, русые волосы и синие, неправдоподобно синие глаза. Единственные синие на всей стене. Такие синие, такие яркие, что только их и видно – из любой точки огромной комнаты, годной для балов и приемов, но признанной кабинетом. При любом свете. Андреев заходил и смотрел на стену вечером, ночью включал фонарь на телефоне, настольную лампу и даже зажег свечу. Они были синими.

Синими, нарисованными в 1938-м. Синими – да, не ошибешься.

А под рамку портрета Элизабет кто-то... Она сама, кто же еще? Всунула ветку вербы. И тем, наверное, обозначила себя единственной живой.

– Доброе утро, – сказала фрау Элизабет.

– Доброе утро, – улыбнулся Андреев.

Они договорились встретиться и встретились возле домашних мусорных баков, которые стояли в кустах у кованого забора. «Вот этот – для бумаги, вот это – для органики, а стекло вам придется выносить на улицу. Там общий бак для всего квартала». – «Я не запомню, – сказал Андреев. – Я курю в доме. На кухне». – «Да, мы потом откроем окна. Прошлый постоялец тоже курил». – «Он выиграл или отказался?»

«Почти выиграл позапрошлый. Он был американец индейского происхождения».

Американец индейского происхождения, Джеймс Мейс как-то сказал: «Я не знаю, почему души ваших ушедших стали приходить именно ко мне. Но с этим невозможно было жить. Я приехал, чтобы им помочь».

Вряд ли души умерших в Голодомор обрели покой, но память и памятники – да. Джеймса больше нет. Есть только его разрешение – слушать души умерших, знать, что они могут прийти и не считать это болезнью, сумасшествием. Американец индейского происхождения Джеймс превратил кошмары, в которых боль-дед, проживший всю жизнь на цыпочках сердитого молчания, боль-отец, растворившийся в тяжелом, немужском воздухе злой страны... в которых Платон, Аристотель, Фома Аквинский и Кант тоже, бронзовый, неухоженный, никем не читанный... Превратил кошмары и разговоры, которых Андреев стыдился и видел предвестником «справки», во что-то естественное, приемлемое, не медицинское.

«А моего предшественника-неудачника вы таки отправили в печь?»

«Он был из России», – усмехнулась фрау Элизабет.

«Я должен сказать, что в таком случае мне не жалко?»

«А вы хотите это сказать?» – холодно спросила она.

Вдруг остро захотелось «выпрыгнуть». Слово «выпрыгнуть», забытое и не ношенное добрых тридцать лет, выскочило само, из детства. «Че ты выпрыгиваешь? Самый умный? Ща получишь!»

С ним вместе пришла и подростковая злость. Пролетарская слегка. «Бремя белого человека, да? Собираете нищих, диких, как буйволов у кормушки? Рассматриваете, сравниваете? Африка? Сафари? Опыты? Забавные животные? Только мужчины или женщин-дикарей вы изучаете тоже? Правильно, что еще остается дряхлой Европе? Вздохать, судить и удивляться. Вы были не такими. Триста лет назад вы уже были не такими. Ваш пра-пра уже ел вилкой и подмывал зад, а мой...! И да, я хочу когда-нибудь плюнуть на гуманизм и толерантность, на «будущее, в котором нам вместе жить», и да, я хочу пожелать

ему, неизвестному и не сделавшему мне лично ничего русскому профессору... он же профессор, правда? Простолюдинов для опытов не берем... Так вот – да. Я желаю ему лопаты, бабья-яги и огня в печи пожарче. Им всем... Гореть в аду».

Андреев кипел, молчал и разглядывал коричневый мусорный бак. А фрау Элизабет терпеливо ждала, пока он перестанет разговаривать сам с собой. Она мягко улыбалась, может быть, хотела помириться, но Андреев видел в улыбке только подчеркнутое высокомерие сильной сдержанной аристократки...

«Вот этот синеглазый мальчик. Виктор, да? Мне думается, что он был Виктором. Из тридцать восьмого года, на портрете, он, кажется, не кровный ваш родственник? Не так ли? Тогда зачем он там? И где ваши женщины?»

Элизабет вздрогнула, побледнела и перестала улыбаться.

«Виктор?... Нет, мы называли его Рудольфом. Но Виктор тоже было его имя. Виктор-Рудольф. Да. И он не родственник. Не кровный родственник. Вы правы...»

* * *

Полотенца были красными. Восемь красных полотенец, с каждым из которых можно было пойти на первомайскую демонстрацию. Вытирать лицо – и не только лицо красным – для бывшего советского человека это испытание. Но Андреев справился.

Еще он справился с ящиками. Открывал их нагло, как заправский сыщик, или, может быть, доносчик, или вор. Ящики комодов были пустыми, под книжными шкафами, которых в доме было восемь, хранились бобины, кассеты, коробки со снятым видео, диски. В ящике стола лежали документы. Свидетельство о рождении Клауса и Элизабет Мюльцер, выданные в 1936-м, 1938-м и в 1945 годах. Клаус и Элизабет подтверждали свое рождение при всякой смене режима. Отец – Николас Фридрих Мюльцер, фабрикант, католик, и мать – Мария Кристина Ньюмайер, католичка. Кто-то из них был разумным и осторожным, а кто-то – легкомысленным. Легкомысленный как будто терял документы о рождении детей, а разумный методично возобновлял их, сначала вписывая Клауса и Элизабет в мир после «аншлюса», а после – выписывая из него.

Клаус Мюльцер учился в школе, потом в университете. Потом еще раз, добавляя к знанию финансов итальянский и английский. В 2007 году Клаус купил машину «альфа-ромео 8С Competizione». Это надо было еще попробовать осознать. В 2007 году Клаусу Мюльцеру исполнился семьдесят один год. И он сделал себе подарок: новую, выпущенную ограниченным тиражом красную машину, на предках которой когда-то ездили итальянские карабинеры и члены правительства, гонщики Милле Милья и мультяшные герои.

В свои семьдесят Андреев планировал не отсвечивать: уйти на пенсию, купить мохеровый клетчатый шарф, трость и кепку, слиться с парковыми стариками, но прослыть среди них нелюдимым, чтобы гулять в одиночестве. Гулять и не кашлять.

А в 2014-м Клаус умер. Восемь бумажек всего. Всего – от 1936-го до 2014-го – восемь. «Альфа-ромео» вошла. Брак, дети, внуки – нет.

Андреев рассердился. Подсказка с этим ящиком, с этим умершим автомобильным гурманом Клаусом была дрянной, не годной. И ежу, и ужу было понятно, что если дом сдается, в нем просто больше некому жить. И таблички на заборе, где Клаусу Мюльцеру и Николасу Мюльцеру еще можно было позвонить, думая, что они откроют дверь, не имели никакого значения.

У Андреева теперь половина телефонной книги состоит из номеров, по которым никто и никогда не ответит. И да, он не может их удалить. Потому что не может и не хочет. И что?

Что? Если у тебя нет дома, в который можно пускать постояльцев, ты не имеешь права на странности? На просьбу «рассказать мне обо мне»?

Фрау Элизабет хочет услышать о том, о чем и так знает? О том, что в последние годы своей жизни Клаус жил здесь, в этой части дома, спал на той кровати, на которой теперь спят постояльцы. О том, что он не ходил. Несколько лет не ходил, потому что следы колес от инвалидного кресла прорезали ровные полосы в паркете. О том, что он курил, сколько хотел, читал и, стесняясь, потому что в хороших домах этого принято стесняться, смотрел телевизор. О том, что, кроме фрау Элизабет, у него никого не было. Что-то мимолетное, ненастоящее, не сильное, во всяком случае, не такое, что могло бы пересилить ее, дорогую сестру, милую девочку, девушку, женщину... Дальше пробел... Дальше слова

нет. Только Элизабет.

По дороге в институт и в самом институте Андреев никак не мог избавиться от сердитого, но почему-то ноющего беспокойства. Он дважды спускался во внутренний дворик курить. Сухо поздоровался с Мартой и вообще никак – с Иштваном Гассо, венгерским профессором, с которым был шапочно знаком.

Он засел в библиотеке, и книги позвали, как звали обычно. Прыгая по лестнице, как пылкий юноша, – вверх-вниз – он натыкался взглядом на темы и брал руками сюжеты, проблемы и модные «фокусы», которые годами скромно воровались и им, и его коллегами с этих полок. Телесность, интеллектуалы, дискурсы, марксизм, Холокост, Балканы, не единая Европа, новые классы, оппозиция прогрессу, миграция, гомофобия, ислам, консервативный реванш. Лет несколько назад, в эпоху до скана, Андреев сотнями страниц копировал западные книги и вез их в тяжеленном чемодане с переплатой за излишек груза. Он чувствовал себя волшебником, чуть-чуть даже Прометеем. Но копии почти никому не пригождались. И даже милая директор библиотеки, которая была добра к нему со студенческих времен, не понимала ценности копированных страниц. Считая их диверсией уже не гнивающего, но все еще опасного Запада, она наотрез отказывалась переплетать их и уж тем более брать на баланс в качестве «настоящих книг». Возможно, была права.

Эти книги действительно разлагали. Они разворачивали научное зеркало, тыкали носом в беду, нищету и вранье. Бесконечное, вписанное в целесообразность текущего момента, вранье, которым грешил и сам Андреев, и его учителя, и друзья, и враги. Переход от враля к вору дался Андрееву легко. Он сам не заметил, как втянулся и привык ко всем этим дотошным разбирательствам, интеллектуальным истязаниям, задачей которых было снять не только шкуру факта или теории, но отделить еще мышцы и ткани, разобрать суставы и кости, познакомиться с клетками, а потом, выбросив все, чем можно резать, шить и клеить, собрать разобранное в какое-то новое естество и объявить его годным методологическим ракурсом.

– Вы вообще чем занимаетесь? – спросила Андреева тетка-проректор, подписывая бумаги на стажировку. Точнее – не подписывая.

– Я философ.

– Смешно, – строго сказала она. – Вы не знаете делового стиля. Вы не разбираетесь в глубине отступа. Когда я читаю ваше прошение, то думаю, что свою диссертацию вы купили в переходе. Идете, займитесь делом. Мы соберем рабочую группу и будем решать, достойны ли вы того, о чем просите.

«Я – философ» – это действительно звучало смешно. И это трудно было произносить и носить тоже. В какой-то момент Андреев разрешил себе думать, что он все-таки не европейский вор. Вообще не вор. И вообще не философ. Он и они все – профессор Иштван, и доктор Лукас, и Марта – толкователи. Собеседники мертвых. И так было всегда. Некоторым из них везло. Удачливый собеседник Аристотеля стал Боэцием, толкователем, что довел до бешенства императора Теодориха, но не успокоился даже в тюрьме. Раззадорился там, разошелся там «Утешением философией». И с тем отбыл.

Везунчик Маркс, зацепившийся сначала за Платона, но переметнувшийся к Гегелю, Смиуту и Рикардо, умница Лакан, замучивший вопросами упокоившегося с миром Фрейда, дотошный Ясперс, разговаривавший с Богом и в перекурах – с Кантом.

И все же неудачников среди них, таких как Андреев, было больше. Но кто-то должен удобрять почву, поливать, чтобы не умерло, чтобы тонкая нить, которая никогда и не была ни прочной, ни толстой, но все равно часто считалась досадной помехой вере или прогрессу, все-таки не прерывалась хотя бы до того момента, пока не попадет в счастливые руки везунчиков Фуко, Элиаса или Фукуямы.

Тетка-проректор таки собрала рабочую группу. Это был ее конек и ее страсть. Рабочие группы, инструкции, положения, бумаги, наполненные запятыми, пробелами и отступами правильной глубины. Судьбу Андреевой стажировки решали семь проректоров, профсоюзный босс и начальница отдела кадров.

– Не вижу инновационного смысла. Мы будем это все ликвидировать как ненужное и не приносящее доход, – строго сказала тетка.

– Нет, ну не надо так резко, – устало зевнул ректор. – Ведь Андрей Андреевич может там в кого-то переквалифицироваться. Там же курсы? Вот... В кого-то полезного, потому что товарищ проректор права: философию вашу на хлеб не намажешь.

– Я бы хотела, чтобы вы называли меня «пани», – капризным голосом сказала тетка.

Ректор поморщился и продолжил: «Я категорически не возражаю. Я вообще не возражаю. Просто нам всем нужно думать о будущем. О монетизации или монетаризации. В общем, о превращении в деньги... Что вы в этом смысле можете нам предложить?»

Время от времени Андреев превращался в деньги. Он хорошо работал со смыслами и его часто приглашали анализировать данные фокус-групп, собранных солидными фирмами. Еще он превращался в деньги, вступая в битвы за гранты и выигрывая их. Пока не поломалась машина, Андреев умел превращаться в не очень большие, но в быстрые и ни к чему не обязывающие деньги ночного «бомбилы»-таксиста. Но так, в целом, он был согласен. Предложить было нечего. Философия не намазывалась на хлеб так гладко, как экономика или юриспруденция. Она была неспособна плодить дипломы, количество которых вступало в какое-то неразрешимое, трагическое противоречие с качеством украинской экономики и права.

– Ну вот видите, – тетка обвела присутствующих строгим взглядом. – Налицо абсолютная импотенция и неготовность видеть наше учебное заведение успешной корпорацией. Тогда зачем Евросоюз будет тратить на это деньги? Мы можем послать кого-то другого.

– Ну зачем так резко? Приглашали-то этого. Мы не можем совершить подлог. Они не поймут, – примирительно сказал ректор. – Но! Товарищ Андреев пока не понимает, но поймет, что наш вуз, – ректор поднял вверх указательный палец, – это такой большой завод по выдаче дипломов. По производству, то есть, специалистов. А преподаватели – это сырье...

«Тема удобрений раскрыта», – усмехнулся про себя Андреев.

– ...и сырье это может быть дорогое и некачественное, а может дешевое, активное и качественное. Вот вы каким сырьем собираетесь быть? Это ко всем вопрос!

– Качественным! – бойко выкрикнула тетка.

- Дешевым, - прогудел профсоюзный босс.

- Активным, - в один голос сказали другие участники заседания.

Ректор удовлетворенно улыбнулся. Он был из комсомольцев. Из последних, из тех, к которым намертво приросло что-то такое, чему нет названия, но что способно останавливать часы и постоянно поворачивать время вспять. Андреев был моложе его на несколько лет и хорошо помнил инициативу, с которой торжественно умирал университетский комсомол. Тогда еще не ректор, но комсорг провозгласил всеобщий сбор металлолома для создания именного троллейбуса. «Мы въедем с ним в историю. Родина запомнит нас такими!» - «С вот этими вот усами электрическими запомнит? А зачем ей это?» - громко спросила Марина. Все засмеялись, Андреев громче всех. Он был по уши влюблен в Марину. А влюбленные смеются громко.

- Можно, я пойду? - спросил Андреев.

- Вот видите, Федор Сергеевич, - сказала тетка, - он - неисправимый рецидивист. В прошлом году без разрешения по сути прогулял целый семестр. И в этом собирается повторить. Я не знаю, что с этим делать. Просто не знаю...

* * *

- У вас все в порядке? - спросила Марта, заглянув в библиотеку. Он и сам бы спросил об этом у человека, что сидит на стремянке под самым потолком долго и недвижимо. Стремянка, конечно, не Бруклинский мост, упасть - прыгнуть с нее в вечность не так-то просто. Но вид, да, действительно напрягает.

- Все хорошо, - улыбнулся Андреев.

- Сегодня на обед будет свинина. Вы любите свинину? Запеченную в духовке? Со спаржей или с тыквенным пюре? Вы знаете, здешний шеф-повар, вы еще ее не видели? Такая темноволосая женщина с сильно накрашенными глазами... Так вот, она была поваром у иранской принцессы. И когда там все началось, они сбежали. Принцесса и ее повариха. И вот она теперь с нами. Такое везение, такая удача, вы не находите? Вам там удобно? Над какой темой вы сейчас работаете? Вы здесь надолго. Слазьте, пожалуйста.

– Я работаю над секретом дома фрау Элизабет, – честно ответил Андреев.

– Это что-то связанное с Холокостом? Мой супервайзер должен был жить в этом доме два месяца. Ноябрь и декабрь. Но лендледи отказала ему. Мы долго обсуждали это в институте. Она сказала Сандре, Сандра – это администратор, она давала вам кабинет, ключи, пароль принтера, что не любит немцев. А Сандра, как и я, немка. И это не очень политкорректно и совсем невежливо, правда? Или вы шутите? Вы смеетесь надо мной? Ничего. Надо мной часто смеются. Я – смешная.

Веснушки и рыжие кудряшки, здоровый румянец на белой коже, невидимые брови и ресницы и, кажется, доброе сердце. Что тут смешного? Андреев покачал головой и улыбнулся: «Нет».

– Я хочу понять природу предательства и природу мужества. Я думаю, что это часто или всегда бывает вместе. Просто первого не слышно. Оно не успевает выйти на поверхность. Остается внутри как уже прожитое, но невозможное. Мужество – это видимая часть трусости и предательства, преодоленных до совершения, задавленных...

– Но апостол Петр... – сказала умная Марта.

– Да. Я думал об этом. После предательства тоже может быть мужество.

– А вы знаете, что в этом здании в шестидесятые, кажется, был бордель? Я думаю, что именно поэтому здесь так хорошо работается.

– Ага, – согласился Андреев, решив слезть с лестницы, чтобы не упасть от смеха. – Есть места намоленные, а есть наебанные, – по-английски это звучало вполне себе пристойно.

Марта хмыкнула: «В сто первом номере сидела вообще какая-то венская знаменитость. Ее звали Роза, и она была очень популярной. Теперь в сто первом номере сижу я. Вы думаете, что, наверное, поэтому я за вами бегаю. Но нет. Меня Сандра попросила за вами проследить. Она боится, что у вас может быть депрессия и вы запьете. Полгода назад сюда приезжал ваш соотечественник. Он запил сразу, как получил стипендию. Мы даже клали его в психиатрическую

лечебницу, чтобы вывести из запоя. Но ничего не помогло. Он вышел из клиники и снова стал пить. И улетел пьяным. Он даже, наверное, не помнит, где был... Это обидно».

- Марта, - укоризненно улыбнулся Андреев. - Я здесь уже третий день и все еще трезв, как стекло.

- Да. Но Сандра еще не выдала вам деньги.

- Это правда, - согласился Андреев.

С запоем они почти угадали. Было. Он вернулся с фронта зимой четырнадцатого, перед самым Новым годом. Весь январь просидел в бумажках, создавая пристойные объяснительные своего отсутствия на рабочем месте. Стыдясь до рвоты, он запрашивал справку с фронта, ставшего в январе передовой, звонил ротному, начальнику части. Они посылали его, по-доброму смеясь, и в общем, были правы. Это было еще до тетки. То есть тетка была, но паслась где-то в глубинах факультетов, междисциплинарно читая партологию, пришедшую на смену «истории КПСС». Без тетки в отделе кадров ему пошли навстречу и восстановили под честное слово, что справка вот-вот придет. В феврале Дебальцево, в котором он провел полгода, - блиндажи, окопы, координаты скопления войск и техники проводника, собака Лада, радиоперехват, шашлык артиллериста, школа, в которой спали в самом начале, летом... В феврале Дебальцево было оставлено под давлением превосходящих сил врага. Ротный погиб, выводя пацанов из готовящегося, но так и не случившегося котла..

Андреев, совершенно не предполагая, что он это умеет, запил. Две недели он был никем, нигде и никак. А в какой-то день без номера и имени проснулся и захотел есть. Поехал на рынок, купил свинины. Жарил ее и ел быстро, прямо со сковородки, еще и еще. Без спаржи и тыквенного пюре. Как собака Лада, оставшаяся там, в Дебальцево. В городе, который он предал своей личной, оговоренной в контракте, демобилизацией.

- И скоро здесь этот ваш благословенный обед? - Андреев слегка приобнял Марту, обозначая этим, что принимает ее заботу. Заботу как контроль, но почему бы и нет.

* * *

Судя по коллекции институтской библиотеки, тема предательства интересовала мир в восьмидесятые. А в девяностые это была уже тема зла – его морали, механизмов, происхождения, зла маскирующегося и зла откровенного... И после – всё. Исчерпано, изучено и закрыто.

Дед часто приставал к матери, сидящей у телевизора, с противными вопросами: «Вот ты целыми днями его смотришь. Про здоровье, про путешествия, про положение международное. Смотришь-смотришь, а все не умнеешь. А почему?»

«Пишем-пишем, читаем-читаем, а все не умнеем, – подумал Андреев. – А почему?»

Впрочем, тему зла «закрывали» примерно раз в столетие. Обнаруживали виновников, корни, способы распространения. И закрывали. Язычники, варвары, христиане, Крестовые походы, колодцы, отравленные евреями, ведьмами и лично Чумой. Раз в столетие все становилось совершенно ясно. А потом начиналось по новой.

Импотенция знания, которое забегаёт так сильно вперед, что вынуждено ещё лет триста ждать первую команду догоняющих. Но и назад тоже. Битое палками, купленное должностями, втиснутое в эпохи «служения идеи» и кровавых битв за нее, знание марширует назад, становясь смешным, пустым, напоминающим по вкусу сухую землю.

Учебник научного коммунизма в этом смысле такой же абсурд, как и бестселлер Шпенглера и Институториса «Охота на ведьм». И простому человеку ведь никак не разобраться, бежит оно, это знание, подпрыгивая и весело призывая бежать за ним, или уныло плетется, возвращаясь «к истокам», куда-то в каменный век, который Андреев не считал безнадежным. Слишком долгим, молчаливым, негодным к беседам и толкованиям, но не безнадежным.

В доме фрау Элизабет книг о предательстве не было. Так, чтобы в теме, прямо в заголовке – нет. Зато внутри – сколько угодно. Шиллер, Гете, жизнеописание Цезаря, Атиллы, Моцарта, Майкла Джексона... Странный набор, компот. Но у самого Андреева дома компот был погуще.

Цвейг, Томас Манн, Герман Гримм, а с ними Карл Маркс и Вирджиния Вульф. И множество других, совсем не известных, до стыда не известных ему писателей. «Надо было учить немецкий», – думал Андреев, рассматривая книги, изданные до Первой мировой, и до Второй, и после, и год назад... Книга на английском была только одна. Случайно заброшенная на тумбочку возле кровати, возможно, оставленная предыдущим постояльцем, скорее женщиной, чем мужчиной, мелодрама о том, как все ненавидели друг друга, потом любили, а потом умерли. Самым лучшим место в ней был эпиграф из «Итаки» Кавафиса: «And if you find her poor, Ithaka won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithakas mean».

Среди немецких тоже, наверное, были мелодрамы, не отданные для уличного чтения, а сохраненные для себя, для потомков, которых, кажется, не было.

Две полки в шкафу, что стоял напротив греденции, были посвящены папе Пию XII. Папе, подозреваемому в пособничестве нацизму, объявленному позорным молчальником, допустившим Страшный суд на земле. Обвиненному в том, что он отказался предать анафеме Гитлера и пожимал ему руку, что безмолвствовал, когда началась война и продолжал молчать, когда стало известно о концлагерях и об уничтожении евреев.

В том, что только один раз, один-единственный, в канун Рождества 1942-го он сказал что-то очень расплывчатое о сотнях тысяч жертв, обреченных на смерть в силу их национальности и расы. А счет уж шел на миллионы. Он считался трусом, проклятым и проклинаемым, не желавшим рискнуть, не готовым помочь. Пий XII не каялся, не оправдывался и не просил прощения. Это казалось грубым, высокомерным и нехристианским.

Кому-то черному, говорливому, кому-то не ленивому в зле папа Пий XII казался исчадием ада.

Но было совсем по-другому, дорогая фрау Элизабет. Было совсем по-другому.

Через несколько дней после освобождения Рима генерал Марк Кларк, командующий 5-й армией союзников, попросил у Папы прощения: «Боюсь, вас побеспокоил шум моих танков. Извините». Пий XII улыбнулся и ответил: «Генерал, всякий раз, как вы придете освобождать Рим, можете шуметь, сколько угодно».

С той стороны, что всегда была белой и не требовала оправданий, выжили сотни тысяч евреев. Римских, венгерских, австрийских, словацких. Визы и паспорта, вагоны и корабли, сложные переговоры и много контактов с британским посольством... И гвардия. Пий пригласил евреев вступать в ряды ватиканской гвардии. И сколько их стало? Три тысячи? Четыре... Четыре тысячи марширующих под носом у Гитлера ватиканских гвардейцев.

Две полки о Пие. А дома – такие же – но только о митрополите Шептицком. Процесс признания святым называется беатификацией. Они оба, конечно, уже встретились на небесах, им лично – не к спеху. Наверное, им даже смешно. Но здесь – битвы. Битвы и годы ожидания. Андрееву говорили, что святые должны явить чудеса. Чудеса под протокол, при свидетелях, достойных доверия. Все серьезно. Все категорически серьезно.

Марина ушла от него именно из-за этой серьезности, не ватиканской, а его личной серьезности и занудности, с которой он мог погрузиться в чужую историю и жить в ней, не замечая ни цен на мясо, ни морщин под ее глазами.

«Но это же даже хорошо. Разве нет?»

«Нет! Я хочу, чтобы ты врал мне. Изворачивался, следил за мной и за собой. Чтобы ты врал, как все, чтобы ты изменял мне, чтобы ты рылся в моих вещах, а я в твоих, чтобы были скандалы, чтобы ты уходил и возвращался!»

Андреев обещал постараться, научиться и явить Марине горы вранья. Но чуда не произошло. И свидетелей, достойных доверия, не было.

Хотя вот здесь, в Вене, он хорошо продвинулся в контексте «рыться в вещах». Марина могла бы им гордиться. Еще немножко, и он начнет много врать, а пока вот – вытаскивает с полок книги, листает страницы с мелкими чуть выцветшими буквами. Удивляется, что его Микеланджело был написан Андре Моруа, а Микеланджело герра Клауса – Германом Гриммом... Удивляется, но достает еще и еще, заваливает себя книгами – халабуда, баррикада, блиндаж. Все, как он любит. Рай – это нескончаемая чашка чая в бесконечной библиотеке.

Альбомы о странах и городах. Фотографии, карты, телефонные справочники и путеводители Италии, Греции, Аргентины, Индонезии, Чехии, Германии, Британии, Таиланда, Израиля... музеи, сокровища, подшивки газет на испанском

языке, театральные программки...

Кто-то из них был педантичным путешественником? Клаус или Элизабет? Или это их отец Николас, проживший такую долгую жизнь, что Андреев успел застать ее часть, записанной именем на табличке под звонком на кованом заборе?

Книги взяли Андреева в плен без всякого хэнде-хох и без всякой надежды на что-нибудь уже почти родное, английское. Еще не научившись толком всем премудростям «рытия в вещах», Андреев чувствовал себя преступником. Ему стало нехорошо, стыдно. Фрау Элизабет могла видеть его в окна. В любое из четырех незанавешенных окон. Озираясь по сторонам, пытаюсь сконструировать фразу: «Ну вы же сами сказали мне сделать это», он пытался «сложить все, как было». Как было он не помнил... Какие полки? Что за чем? Фамилиями или размером? Он стал спешить, брать сразу большими стопками, но не удерживал равновесия, часть книг летела на ковер, раскрывалась интимно и беспомощно серыми старыми страницами.

Он не увидел, из какой книги выпало письмо. Пожелтевший, аккуратно вскрытый конверт из хорошей и плотной бумаги. Без марки. Андреев узнал на нем обратный адрес, написанный фиолетовыми чернилами – адрес дома, где он теперь жил. А адресат, стало быть, не ответил? Письмо не получено? Ну еще бы... Адрес получателя не слишком удивил. Papst Pius XII. Когда ты столько читаешь о папе, то ничего удивительного, что в конечном итоге ты начинаешь писать ему письма.

Андреев в детстве писал в «Пионерскую правду». И тоже – без указания города, улицы, номера дома. Казалось, что «Пионерская правда» – сама по себе адрес. А писал он стихи. Писал много и посылал часто. Письма никогда не возвращались. Но и ответы тоже не приходили. Андреев заглядывал в ящик утром и вечером... а когда не мог или не успевал, то просил маму. Года полтора это длилось. Как лихорадка. А потом он понял, что пишет плохие, глупые и стыдные стихи. И с облегчением перестал ждать.

В какой-то книге, на какой-то полке, в каком-то шкафу лежит пачка его дурацких писем в газету, которые почтальонша наверняка передавала матери из рук в руки, чтобы не расстраивать ребенка. «Ну, мам, – смущенно сказал Андреев чужому письму. – Вот я идиот. Только сейчас об этом подумал».

В прошлом, которого стараниями мамы уже не будет, он мог бы найти правильный адрес газеты. А редакция, утомленная его бомбардировками, в сердцах написала бы: «Плохие стихи». Он бы поверил, но не поверил. Пытался бы улучшаться, положил бы жизнь на то, чтобы какая-то другая редакция послала его, уже взрослого и прожившего жизнь непризнанного поэта, жестче и понятней. А так – полтора года лихорадки. И всё.

А теперь Марина могла бы им гордиться. Чужое письмо, читать которое нельзя ни при каких, обжигало руки. «Одним глазком, – уговаривал себя Андреев. – Одним глазком...» Надо было остановиться, но уже нельзя было остановиться.

Печатные буквы, крупные, детские... Из понятных слов Victor Rudolf Obermayer, Jude, meine Mutter и Elizabeth, 1943.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/styazhk-na_olena/rozka-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)